

МАКАР

Но...

1. ЧАШЕЧКА КОФЕ

Он был пьян. Он был пьян уже не первый день и со стороны удивленно смотрел, что с ним делается. Он вышел оттуда, оставив кутерьму, громкую музыку, визгливые голоса женщин. Он сел на землю, прислонившись спиной к большому камню, и, облегченно вдыхая свежий воздух, смотрел на редкие звезды. Чуть брезжил рассвет.

Ему стало скучно, и он сделал комара. Спьяну комар получился огромный, как воробей. Но вполне дееспособный. Пожужжав и сплетя обычный комариный узор, он сел на его мохнатую руку и плотоядно воткнул хобот в кожу. Прихлопнув его и брезгливо стряхнув останки, он подумал:

— Правильно — сильный и жестокий.

Он вошел в маленький кабачок где—то на диком Западе. У стойки никого не было. В зале за столиками сидели человек десять—двенадцать. Он прошел к стойке и сел на высокий кожаный стул.

— Простите, но это место занято! — К нему подошел вихлястый плюгавый подросток.

Он пересел на стул рядом.

Бармен стоял к ним спиной и что—то считал.

— Мистер, это место тоже занято.

Он пересел.

— Я очень сожалею, мистер, но здесь занято тоже.

Он взглянул на юнца и тихо спросил:

— Парень, а тебе не пора домой?

— Не обижайте мальчика, сэр! — К стойке двинулся огромный детина в черней облегающей кожанке. Его тоже пару раз задела вскользь, краешек губы чуть кровоточил, когда все было кончено. Бармен повернулся к нему и вежливо спросил:

— Чего угодно, сэр?

— Если можно, чашечку кофе.

Он взял кофе и, удобно прислонившись к камню, с удовольствием потягивал его, потирая ушибленную губу.

— Нет, это не то, — решил он. — Я — граф, я — старый лорд.

Его коляску везли два лакея.

— Не так быстро, — сказал он.

В замке он сначала отвечал на письма, потом принимал надоедливую родню. В обеих сиделок, ходивших за ним, он был влюблен.

Когда дошло до переодевания, он прижался к камину и, бросив вниз чашечку с остывшим кофе, сказал:

— Хватит. Все, — сказал он. — Я — бог, у меня свой мир.

Вращалась планета, население молилось, пыхтело в кроватях, зарабатывало на хлеб и на пыхтение. Крестовые и некрестовые походы, договоры, выборы, политики, фундаменталисты, автомобили чадил. У него разболелась голова.

— Не хочу, — решил он.

Упершись своей рогатой головой в камень, сбросил его вниз. Захватывая по

дороге другие, камень, с грохотом скатился в пропасть.

— Здорово.

Он осторожно подошел к краю и заглянул за него. Никакой пропасти не было. Ему захотелось обратно, туда, где он был прежде.

— А где же я был?

Он огляделся кругом. Светили редкие звезды. Чуть брезжил рассвет.

— Да тут и быть-то негде.

Он лег на спину.

— Так, — подумал он. — Сначала надо разобраться в себе, а потом уже со всем остальным.

2. ПОПЯРА

Пол камеры блестел инеем. Он знал, что скоро придет буц-команда и, бросив его на этот пол, будет дубасить сапогами и деревянными палками. Это последний раз, потом он десять дней будет собирать силы и, если выживет, то выйдет на зону без ссадин и синяков. Отбитые в предыдущих экзекуциях внутренности дрожали, но, услышав в коридоре бура шаги, он встал. Все равно первый удар, пусть в пустоту, но его.

...Он дополз до кружки и, проломив ледок, попытался напиться. Не сумев глотнуть, перевалился на спину и, приоткрыв, насколько мог, рот, лил воду на лицо, на глаза, залепленные кровью и гноем. Он не смог забраться на нары и, лежа на полу, в полубреду понял, что это конец, что не встать ему больше с этого проклятого пола. Если бы кинули ему положенный по закону бушлат, тогда еще да, а так он тихо замерзал. Духа в нем было еще много, а вот жизнь потихоньку уходила, и от обиды на толстые стены, на крепкие решетки, на свою слабость он заплакал, и слезы жгли разбитое лицо, и он удивился: чего это я плачу...

Он с бригадой грузил пароход козлятиной. Целый трюм козлятины. Пароход шел куда-то на север, навигация кончалась, и портовики гнали секцию за секцией, и конца краю этому видно не было. Все вымотались, но они отломили четыре козьих мороженных ноги и в двух ведрах передали наверх крановщице. Скоро ноги сварятся на жарких крановых обогревателях, и одно ведро они обменяют у соседей, разгружающих пьяный пароход из Вьетнама, на ром или водку, а вторым ведром закусят сами. Всем хватит горячего бульона и волокнистого козьего мяса. Он зачмокал губами и сильно потянул носом, но пахло на него не мясным ароматом, а запахом застарелой мочи. Ну да — он же в школьном туалете. Перемена. Он курит, пуская дым по стене, и ждет звонка, потому что ему надо выйти последним. Последним потому, что... Но тут память застопорило, этого он не хотел вспоминать. Словно помогая ему, загремел замок.

— Снова, что пи? — безнадежно подумал он, но чьи-то незнакомые голоса бубнили над ним, кого-то называли «батьюшкой», чьи-то руки поднимали его с пола — «не трепыхайгесь: в санчасть несем». И тогда он позволил себе роскошь потерять сознание.

— Да какой ты мне отец? Я отсидел больше, чем тебе лет, это ты мне сынок, и не подъезжай ко мне со всей этой святостью. Я тебе, конечно, обязан. Расскажи лучше, как тебя в бур пустили.

Священник действительно был не стар. Он сидел на табуретке, немного согнувшись, и, глядя священническим взглядом — как бы сквозь человека, говорил глухим голосом: «Да это не я. Целая комиссия была. Вы не волнуйтесь, я к вам ни с чем не подъезжаю. Болит у вас?»

— Болит? — Он открыл тумбочку. — Ты смотри, в первые отсидки мне сало да

чеснок приносили, а тут икра красная, икра черная, печень трески (очень полезна мне сейчас), крабы, водка в пластиковых бутылках («Белый орел» называется)... Сигареты «Кэмел» с фильтром и без фильтра, анаша (план по-нашему) и папиросы «Казбек» для нее... Лекарства шведские, французские, японские, япона мать... Тут захочешь помереть — не помрешь. Но болит, поп, болит. Все болит. А больше всего болит, что сдох бы я там, если б не ты, а этот козел кум ходил бы поверху земли. Теперь все наоборот будет — я, вроде, похожу еще.

— Оставьте, оставьте вы это. — Священник вскочил, дернулся к двери, вернулся обратно. — Бросьте вы это!

— Что, стукануть хотел? Ну, шучу, шучу я. Тебя как зовут? Отец Анатолий? Ну, ладно, отец, так отец. Ты слушай, отец. Я святош никогда не трогал. Их раньше много сидело за веру. Крепкие ребята — все могли вытерпеть. Операм их дернуть было не за что, мы их особо не прижимали, но большевички все равно их кромсали, как хотели, а они молились за гонителей своих и тихо помирали, как я там, в трюме. Папаня, со мной это не пройдет, я ни левой, ни правой не подставлю. Ладно, ты иди. Я хочу водки выпить. Один. К жизни я еще не привык, не чувствую ее. Приходи, когда хочешь. Ты теперь навек в законе. Хочешь, девочек позовем? Ну, ладно, иди, иди, не в себе я еще.

Он хлебнул из бутылки, и без того нывшую поясницухватило огнем, но давно не обращавший внимания на боль, он помягчел и, быстро пьянея, повалился на койку. Прижал колени к груди, замер, и какая-то музыка звучала, и смерть быта рядом, и этот поп, и снова промерзлый пол, заляпанный его кровью, и он лениво подумал: «Проснусь или не проснусь?»

Он проснулся в другой палате. На стуле дремал медбрат из зеков.

— Эй! — позвал он. — Где это я?

— А, Михалыч проснулся. Ты на центральной больничке. Тебе операцию делали, почку взяли. Заражение начиналось. Лепилы говорят, теперь опасности никакой. Еще чего-то тебе штопали.

— Прикури мне сигарету. Есть?

— Да у тебя полно в тумбочке.

Он затыкнулся из рук зека несколько раз.

— Возьми себе пачку. Возьми еще. Сколько я здесь?

— Пятый день. Я пойду врача позову.

— Поп приходил?

— Каждый день. Попяра хороший, с понятием.

Он был слаб, и голова кружилась от затыжки, но то, что было рядом, ушло. Он чувствовал это. Хотелось встать и что-нибудь сделать, но не было сил, и он просто радовался.

Трудно он выздоравливал. Его часто трясло, он стал слезлив, немного капризничал, подсмеиваясь над собой, и не мог привыкнуть к теплу.

Отец Анатолий приходил часто. В душу не лез, ничему не учил. Библию не приносил, и он с интересом ждал, когда же тот заговорит о главном, и репетировал этот разговор, был готов и знал, что не отступит от своего.

Он представлялся себе старым, мудрым, опытным котом, который, лениво зажмурившись, следит за мышкой, кругами шныряющей вокруг него, и вдруг, раз, и мышка вот она, но не в когтях, а в мягкой лапе, и может гулять свободно и безбоязненно кормиться.

Позорную баночку, привязанную к ноге, убрали. Приезжий зубной врач снял слепки, и новые зубы делались в столице. В тот день отец Анатолий пришел усталый и, поздоровавшись, сказал: «Крестил в новой нашей часовенке».

— Ну вот, пошла преступность на убыль. Скоро и работать не с кем будет.

Священник взял со стола кусочек хлеба и, с удовольствием понюхав, стал есть.

— Да ты бери, батя. — Он принялся доставать припасы.

— Благодарю, не надо — сейчас пост.

— И мне, что ли, поститься?

— Большим дозволено поста не держать. А вот поговорить нам надо. Вы все также думаете про то, о чем мы с вами тогда говорили?

— Это про кума, что ли?

— И о нем, и обо всем остальном... Вам инвалидность дают. Комиссуют скоро. Уедете вы отсюда. Неужто — после всех мук — опять в... эту... — Он замялся.

— В грязь, — ты хочешь сказать. Это, батя, не грязь, это жизнь моя, жизнь моя это. А муки мне выпали не за то, что я плохой, это просто оперу лягнули, что денежкой я распоряжаюсь, большой денежкой, такой, что его заломало. Ты видел, что он со мной: сделал. Так что, могу я его оставить?

— Его уволили. Идет следствие.

— Ты, отец, не понимаешь, у нас свой закон, и мы по нему живем.

— Закон для всех один — Божий.

— Батя, только про законы мне не говори. Я их изучил — от царя Хаммурапи до наших дней. Ты, вообще, знаешь, что, кроме фени и русского, я еще на двух языках с тобой говорить могу. У меня столько времени свободного было, сколько у немногих бывает, и я это время не только в стирки коцанные катал, я читал и думал, думал и читал. И еще слушал. Если б ты знал, какие люди мне лекции читали. Я думаю, что курс твой семинарский я превзошел. Меня посвящали в тонкости синтоизма. Индусы и кришнаиты, зороастрийцы и евреи, православные, католики и протестанты, баптисты разных мастей и толков. Не перечислишь всех, кто меня просвещал и обращал.

— Читал я Веды и Пураны, руны и Каббалу, «Книгу мертвых» — и египетскую, и тибетскую. Философов религиозных и нерелигиозных, да ко всему этому комментарии и комментарии к комментариям, и просто книги — литературу. Библию я знаю и люблю, кроме «Чисел» и «Царств», а «Иова» и «Екклесиаста» — наизусть. Хочешь, я тебе про индийский след Христа расскажу?

Законы... Законы меняются, а люди нет. Кто ошуюю и одесную Христа висели? Есть свет и тень, добро и зло. И одного без другого не бывает. Вот ты вытацил меня, а теперь маешься — добро или зло ты сделал. Ты не майся, этот пес — мало того, что вор, он еще и предатель, он своих предал, а я нет. И крови на мне нет. Я тебя люблю, но ты — как коммуняка: я всегда наперед знаю, что ты мне скажешь, потому что ты — догматик, и я в любом споре всегда у тебя выиграю, всегда. Ну, что молчишь?

Отец Анатолий все это время сидел, как-то скучая и даже вроде стыдясь за него, и, отвечая, первый раз назвал его на «ты».

— Ну, и что же ты искал столько лет, у столькоих людей и книг? Ответов или, может быть, оправданий?

— А чего мне оправдываться? Что было, то было, я не жалею и не стыжусь. Ты представь себе сильного красивого гордого пацана. Весна, май месяц, к концу седьмой класс идет, а у меня штаны порвались на том месте, коим сидят. У матери до получки три дня. Три дня надо протерпеть. Можно, конечно, заштопать, но заштопать — значит признать. А так: — только что порвал. Как назло, вызывают к доске, и, когда мимо ее парты проходил, она взяла палец, сунула его в дырку и покрутила. Я и так бесился, меня весь класс ненавидел, девчонки плевались, а эта, дочка великого артиста, палец всунула. Ну, куда я мог, прикинь, после этого пойти? Я и пошел. Вот тебе вопросы и ответы, вот тебе жизнь и смерть, добро и зло. Вот тебе закономерность случайности, и вещь-в-себе, и все шесть доказательств.

— Что я искал? Да ничего я не искал. Любознательный я просто. А в пост выпить можно?

Они сидели за столом, низко склонив головы друг к другу, выпивали, и отец Анатолий тихо говорил:

— Вся твоя мудрость — это хорошо. Только ни на что она не годится. Не надо ничего придумывать, побеждай ты меня в споре любом. Только я главное у тебя уже выиграл — жизнь твою выиграл. Ты там не за деньги воровские бился, ты за душу свою бился, и душа твоя всю жизнь томилась, и маялась, и искала. Ты не меньше меня верующий, только не знаешь это-то, и ничего ты больше не сделаешь. Выброси дуболомные мысли свои.

— Ну, ты даешь, поп, ты в натуре даешь, попяра, — плакал он, — что же, мне теперь на инвалидную пенсию жить?

— При Храме жить будешь, работы полно. Мне без тебя плохо теперь.

— Да я не рукодельный.

— Ничего, вот — деньги хранить умеешь.

В эту ночь он плохо спал, все вставал, пил воду, курил и думал — ничего не решено, обмозговать все надо. Но все было решено.

3. ДОРОГА

Дорога плыла в жарком мареве. Видно было на пять шагов, не далее.

— Мастер, мы сто раз проходили мимо этого камня.

— Почему ты так решил?

— Я пометил его.

— Стажер, ты навек остался стажером. Операция сорвана. Год подготовки псу под хвост.

Он нажал на кнопку прямой связи и вызвал вертолет.

— Мастер, маленький крестик на камне, и все.

— Этот маленький крестик — большой крест на твоей карьере разведчика. Мы невидимы, мы — современные ниндзя, наши скафандры не обнаруживаются ни радарами, ни собаками, ни чертями, ни дьяволами. Наши разговоры не слышны самому Господу Богу. Мы не оставляем следов. Я привязался к тебе, стажер. Я проявил слабость. Ты сделал то, чего не сделал бы желторотый новобранец. Ты оставил след, ты обнаружил себя.

— Но я чувствовал, что они водят нас кругами, значит, знают о нашем присутствии. Я просто решил проверить.

— Ничего нельзя чувствовать на дороге. Ничего нельзя о ней знать. И я тоже умею отличить укороченный шаг левой ноги от обычного, но наше дело было идти по дороге и вернуться. Постараться вернуться. На нас надеялись, а мы напортачили в самом начале. Это похоже и на глупость, и на трусость. Теперь пойдут другие, но их, может быть, уже будут ждать.

— Не говори «мы», Мастер. Я напортачил, а не мы. У меня на счете достаточно, чтобы оплатить не один скафандр.

И, отключив связь, он строго запрещенным быстрым шагом пошел вперед — туда, откуда еще никто не возвращался.

— Обочина — смерть, обочина — смерть, — в такт шагам шептал он, стараясь держаться посередине дороги. — А, впрочем, и середина — смерть. — Он тихо рассмеялся.

— Свобода, — думал он. Одна голова лучше, чем две. Одна голова в два раза лучше. Я сам сделаю или не сделаю, сам умру или не умру, и не надо бояться за другого, а за себя я не боюсь.

И тут на него навалился панический: страх. Он крутанулся на месте, выбирая, куда бежать.

Стоп! Тренированное сознание бросило его ничком, и, лежа пережидая приступ, он мысленно благодарил Мастера.

— Ну, вот. Они объявились. Ну, здравствуйте. Начало неплохое. Значит, скафандр для вас — ничто.

Он включил связь и позвал: «Мастер, Мастер!»

Тишина, какой не бывает в наушниках при работающей связи.

— Значит, вы можете отключать любую систему, задушить, уморить голодом или поджарить меня в этой скорлупе. Ребята, это несерьезно. Если вы не хотите, чтобы мы лезли к вам, — скажите. Но по дороге ушли первые и не вернулись. За ними пошли другие. Мы должны знать, что с ними со всеми. Черт с ней, с дорогой, куда бы она ни вела, в рай или ад. Черт с вами. Унизительно быть игрушкой, унизительно знать, что я в этом дурацком скафандре полностью в вашей власти. Я хочу знать, где все ушедшие по дороге, и хочу передать это своим. Потом делайте, что хотите. Пусть у вас другая этика, но раз уж вы можете так расправляться с нашей техникой, значит, вы мыслящие существа или кто вы там такие.

Он поднялся на ноги и очарованно смотрел на широкую разноцветную степь. Не было на нем скафандра, а был его любимый старенький свитер и хорошо обмятые джинсы. Ветерок был пахуч и влажен, и он пошел ему навстречу. На берегу ручья сидели в кружок у костра несколько мужчин и женщин. Он перешел ручей и присел в круг. Ему протянули тарелку с едой.

— Скоро кофе закипит, — сказал кто-то.

Он сидел, глядя в огонь, и с тихой тоской наблюдал, как горят в нем не сгорая дрова.

— Вы тоже прошли дорогу? — спросил он.

— Да, парень, каждый здесь прошел свою дорогу.

— Но ведь женщины не ходили туда.

Одна из женщин подала ему кружку с кофе и, заглядывая в глаза, спросила:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать.

— Родители живы?

— Нет, они умерли.

— Ну, вот: они прошли дорогу, и ты идешь по ней. Зачем вопросы? Все придет в свое время.

Ему стало больно, и он, крепко зажмурив глаза, пытался удержать слезы. Но они пробивались в уголки глаз. Он хотел стереть их рукой, но наткнулся на стекло шлема. Кто-то тряс его за плечо:

— Что с тобой, стажер? Как ты мог убежать, я еле нашел тебя.

Вертолет шел на посадку.

— Что с тобой случилось?

— Не надо вопросов, Мастер. Все придет в свое время.

4. БРАТЕЦ

Погрузка шла оживленно, задние напирали, нисколько не тревожа впереди стоявших. Все были как бы уже внутри судна, не было только его самого.

— Дорогие друзья, я думаю, не стоит ждать опоздавших, — сказал распорядитель. — Следующий фантом готов принять задержавшихся.

Под общие крики одобрения скорлупа судна образовалась, в тот же момент фантом стартовал, и на освободившееся место хлынули волны жаждущих.

Он проводил взглядом уже не первый фантом, когда кто-то положил ему руку на плечо. Он быстро сделал шаг в сторону.

- Мы знакомы, капитан, поэтому не стоит ломать мне челюсть.
- Может быть, именно поэтому и стоит.
- Пойдемте лучше куда-нибудь, посидим, ведь я тот, кто изобрел все это.
- Знай я это раньше, челюстью вы бы не отделались.
- Идемте, капитан, все лучшее — впереди. Вы позволите звать вас «Капитан»?

Ну, так вот, капитан, пейте, я буду говорить долго. Вы знаете, что я люблю вас, капитан?

— Да уж.

— Но даже если бы и не эта любовь, мало кто в космосе попытался меня хотя бы понять.

— Никто.

— Пожалуй, да. Пейте, пейте, капитан. Чем отличается детеныш лиса от человеческого? До поры — ничем. Пока идет игра, они равны, ну, чуть больше царяпин, но все равно они потом спят, обнявшись. Но кончается игра — и начинается то, что называется жизнью. И здесь для меня все кончается, все. Здесь кончается добро и зло. Вернее, добро почти кончается, а зло растет в геометрической прогрессии.

— Капитан, ты впитал не только культуру Востока и Запада, что почудилась Кипплингу. Ты знаешь культуру перевернутого неба и вывернутой земли. Ты облазил Космос, как и я, и везде видел одно и то же. Пока идет игра, пусть даже с дубинами и луками, еще можно — с трудом, но терпеть, но там, где живут взрослые — там бомбы, субмарины и те же правила игры.

— Будь на твоём месте другой, я задал бы тысячи вопросов, но это ты, и я спрошу только одно: сколько человек не сожрали бы лисенка для продления своей жизни? Я не настаиваю на точности ответа. Но сам готов дать ответ с точностью до единицы

— Капитан, человек хорош, только когда он ребенок, совсем ребенок, или когда он сумел остаться ребенком (с большими оговорками). А когда он бывает добр и счастлив? Когда он гениален? А где сказано: будьте, как дети? Мне не запугать тебя океанами крови — ты видел. Мне не утратить тебя предательствам — ты знаешь. Но, может быть, Он — Тот, Кто запустил юлу — был ребенок и забыл об игрушке, как забывают дети. А она крутится. И тогда я решил — раз большая часть нашего мозга пуста, пусть она станет фантастичной. Вон, смотри, бездетная мать баюкает тройняшек, вон сексуальный маньяк нашел сразу двух партнеров, вон умелый плотник, в прошлом паршивый бухгалтер, строит всем жилье, причем не поранит инструментом ни себя, ни окружающих. Вон фиалка в экстазе опыляется мимозой. Представляешь — гибридик? Ну, что ты молчишь?

— Ты забыл одно слово: *Смерть*.

— Да, они, конечно, тоже умрут, но не насилуя, не убивая.

— Послушай меня, младший. Юлу запустил не ребенок, и если льется кровь, то это его кровь. Ты был в черной комнате?

— Да.

— И там не было черной кошки?

— Нет.

— И не будет: и черная комната, и черная кошка, которой там нет, и сама чернота, — все это Он. И твои фантазии — это Он. Давай лучше выпьем. Кстати, зачем ты убил меня тогда?

— Да разве я сторож брату моему?

5. ДОЖИТЬ ДО ФИНАЛА

Все было у него хорошо до этой аварии: шла карта; любили женщины; солнце заходило как раз тогда, когда ему хотелось спать; а море штормило, если волновалась душа. Но вот он чем-то отвлекся и не заметил светофора. Очнувшись в больнице, он долго смотрел в потолок и тоскливо думал, что вот мог бы и не опамятовался никогда и даже не узнать об этом. «Никогда» беспокоило его: ведь это был бы конец. А может быть, и не конец. Неумелая мысль текла медленно и трудно, и ему захотелось спросить кого-нибудь, но он стал проваливаться и, заведя закружившуюся голову вправо, то ли заскользил вниз, то ли воспарил.

— Ну что же, спрашивай, что хотел, — услышал он.

— Простите, а у кого спрашивать?

— У меня спрашивай: я — Бог.

— За что же мне такое? Я не очень-то и верующий. Да и грешил, вроде, много.

— Грехи оставь мне, а говоришь ты со мной потому, что жил без зла, ну, немного секса, немного вина, как можно меньше неприятностей, да и там, у себя, ты так мало задавался вопросами, что я просто обязан разрешить все твои сомнения здесь, у меня.

— Скажите, я умер?

— Ну, нет, ты не умер, умершие ни о чем не спрашивают. Ты ведь видел умерших?

— Да. А скажите, как вы все это сделали: ну там, землю, небо, людей?

— Ты не знаешь даже земной механики, а хочешь понять мою, да и не нужно тебе это.

— Ну, тогда зачем?

— Небо, землю — для вас, а вас — для себя. Если некому было меня осмыслить, то меня вроде как бы и не было.

— Ну да. А вот я теперь в больнице, и мне больно и страшно, мама моя умерла, а один мой друг убил себя и много других, кому плохо. Почему так?

— Тебе больно и страшно, а другим плохо. Я не нажимал педаль газа твоей машины. Вспомни, когда тебе было хорошо. Тебе хватало воды, воздуха, земли, чувств. Или я тебе чего-нибудь не додал? Не я сказал: подличайте! Предавайте! Копите! Воюйте! Ты жил, как спал, и только сейчас проснулся. Свой мыслительный аппарат ты почти не использовал, а он — главное, что я тебе дал. Все ценное у тебя наверху, а не внизу. Вот и подумай, и скажи сам, почему многим плохо.

— Я понял. А мама?

— И мама, и твой друг, и все остальные!. Тебе приходилось перешагивать через черту, хоть маленькую? Прыгнуть с вышки, заступиться за друга? Ведь страшно только до черты. Смерть — это Большая Черта.

— Да, сейчас мне не страшно, но ведь умирают и совсем маленькие. И всякие болезни и аварии... Ведь вы знаете заранее, что произойдет, и можете все изменить.

— Я знаю все, что может произойти. Сценарий не написан, хотя роли и розданы. Весь спектакль и апофеоз многовариантны: играют не марионетки, а творцы. Ты, не мудрствуя, уверен, что материей правит дух, но уверен ли ты, что и духом кто-то правит? Дух, дорогой мой, свободен. Только у меня и у тебя есть такая свобода, и только ты ею так мало пользуешься и так ее боишься. Свобода — не осознанная необходимость, как тебе говорят. Свобода — это творчество, и там, где она есть, нет зла. Свободный не построит взрывоопасный реактор, не выложит стены горючим, ядовитым материалом. Свободный нуждается только в подобном себе, он не воюет и не ворует. Свободный умен! Свобода и ум — синонимы. Глупость и зло — тоже. Злой, эгоистичный, глупый, жадный нуждаются в защите государства, армии, полиции, группы подонков — партии или банды. Он зависим и потому плодит и множит зло. Глупец стремится к почестям, богатству, он хочет занять видное положение. Ты понимаешь: молния хочет занять видное положение; она видна

издалека, но вот долго ли? Мой сын пришел к вам, и что, он рвался к престолу или звал вас всех в царство свободы? Мерзость завоеваний, глупость суеверий, подлость присяг, духота национальных границ, разврат званий и отличий, ложь власти — вот рассадник зла и несвободы. Ты вырос в этой оранжерее, но стал тем, кто ты есть, — очень милым, но бездумным болваном. Значит, что-то мое не пропало и не дало пропасть тебе. Вы изначально свободны и сами должны выбирать.

— Но, если все выберут свободу, кто будет сеять, пахать и все остальное?

— Пиши стихи или будь золотарем, или делай все вместе, или ничего не делай, но твори свою свободу, свою жизнь на этой земле. Всем всего хватит, если быть честными. Я создавал не толпу, не нацию, не народ, а человека. Каждого — одного. И только сам — один может войти или не войти в мое царство. Коллективных туров сюда не бывает.

— А как же люди надеются здесь на встречу с любимыми? Они же верят и молятся об этом. Как же с ними?

— Ты только недавно стал задумываться, а кое-что уже понял! Главное — начать. Есть любовь—творчество и любовь—зависимость. Первая не нуждается в защите, вторая ее не стоит. Злодей любит зло, вор любит воровство. Полюби свободу, и все изменится на земле и в небе.

— Почему же люди не понимают этого? Ведь даже мне все понятно.

— Почему спящий спит? Тебе все понятно потому, что ты говоришь со мной.

— Так скажи им всем!

— Все сказано. Имеющий уши... Века прошли, детство кончилось. Теперь вы можете уничтожить все созданное мною, а жизнь свою устроить не умеете. Вы сами говорите: ум — светлый, а глупость — несветлая, и не пользуетесь этим светлым. Всё, что от меня, — просто. Ну что вы рветесь? Кто из пророков и гениев был министром, столоначальником, банкиром? Я дал вам Вселенную, а вы играете в футбол или выбираете президентов. Вы подменили понятия. На самом деле возлюбить ближнего значит возлюбить и дальнего. Ваших детей воспитывают не лучшие из лучших, а слишком любящие или чересчур требовательные, или глупые родители и учителя. Каждое поколение должно вырастать чище, выше, умней родителей, а вы в лучшем случае воспроизводите себе подобных. Подменяя воспитание плохим образованием, вы до бесконечности затягиваете продвижение вперед. Ваша способность плодить трудности выше любой иной способности. Все знают, что любовь обычно короче жизни, но все клянутся любить до гроба. И что же? «Ах, милочка, мне с ним так некомфортно!» И долго, и пошло судятся, и делят нажитые бессмысленным непомерным трудом деньги, рвут детские души. Сказано: «Не убивай!» А вы?.. Это не упреки, это — сожаление. Столько получить и так бездарно использовать! Если бы я захотел озвучить зло, которое вы приносите себе и всему живому, Земля вопила бы на всю Вселенную.

— А вот теперь мне по-настоящему страшно.

— Не все же веселиться. Несвободный трусит и оттого злобится, свободный ужасается, но любит. Политиканствуя или проповедуя, трудясь или разбойничая, совокупляясь или монашествуя, вы ворочаете десятком мутных ржавых мыслей и понятий. Ваши теологи и философы изводят уйму бумаги, доказывая мое бытие или небытие. Да что вам за дело до меня? Займитесь-ка лучше своей жизнью. Поэт сказал, что любовь и голод правят миром. Нет! Пока что вашим миром правит несвобода. Стань свободным, и тебе не придется никем править, и тобой никто не будет править, а, стало быть, изменится и мир. Можно искать жизнь на Марсе, как будто ее нет на Земле, можно говорить о коллективном разуме, рождаясь и умирая в одиночку, можно безраздельно владеть единственной истиной, как делают сотни конфессий и сект, но лучше спросить, а нужно ли все это, и в зависимости от ответа продолжать или вернуться к разуму. Ты пойдешь туда — спектакль продолжится, и

до финала еще есть время. Огонь, зажженный мной, не погас; он тлеет в каждом. Теперь ты сильный: я коснулся тебя. Страх пройдет. Иди, но помни, что мессия должен быть распят.

— Я все расскажу, но мне не поверят.

— Дело не в вере, дело в разуме. Из зерна, выращенного тысячи лет назад, можно испечь хлеб сегодня. Оно и тогда дало кому-то силу зачать новую жизнь. Так и мысль: она может быть нужной ныне живущим и понадобится в будущем. Царство свободы — внутри вас, и никакая пентаграмма, крест или свастика, никакие шаманские завывания шеи ухищрения органа не помогут достичь его, если только не отринуть звериные нравы и обычаи, если не взять на себя бремя свободы и ответственности, если не жить так, как будто от тебя одного зависит судьба мира, а оно так и есть, если не избавиться от любого фанатизма. Только тогда вы придете к себе, а, значки, и ко мне. Мое следующее явление — в финале. Каков он будет, зависит теперь от вас.

Очнувшись в своей палате, он подозвал сестру и попросил чернил и бумаги.

6. БУДЕМ ЖИТЬ

Он очнулся в неудобной позе, зная уже, что случилось что-то необычайное, ощущая огромность провала времени, прошедшего до этого пробуждения. Поднявшись на ноги, он увидел коридор, еле заметная дуга которого уходила в обе стороны. Быстро проверил, прежнее ли самочувствие, — все привычно, только давно забытая юношески веселая спокойная уверенность приятно удивила. Одет в скафандр без швов и кнопок.

— Космос и космический аппарат, — подумал он и зашагал направо, по часовой стрелке.

— Ни голода, ни жажды... Да что же это...

Он твердо знал, что идут уже четвертые сутки.

— Может быть, я уже несколько раз прошел мимо того места, где очнулся.

Нечем было нанести черту на стене, нечего оставить как маячок. Он сел, прижав спину к той стене, которую считал внешней.

— Я не спал и не хочу спать, я не ел и не хочу есть, я должен с ума сходить, а я спокоен.

Он посмотрел на свои руки. Перчатку он не ощущал, не мог ее пощупать изнутри. Он прижал пальцы к стене и, сильно нажимая, провел сверху вниз. Щелкнув, открылся проем, и в коридор вошла женщина. Небольшая с черными волосами в синем платье женщина. Она посмотрела поверх его головы, очень медленно повернулась налево, еще медленнее направо и тут, увидев его, тихо вскрикнула и замерла, опустив руки. Он тоже не двигался, стараясь не испугать ее еще больше. Несколько человек вошло в коридор и замерло, в точности повторив ее позу. Он поднялся на ноги и, вспомнив прочитанные книги, протянул вперед обе раскрытые ладони. Ничего не изменилось; оцепенение охватило всю группу. Стряхнув его, он первым шагнул в проем.

Все оказавшиеся в небольшом зале и оставшиеся позади него смотрели с одинаковым выражением страха и какой-то брезгливой отстраненности. Он еще ни разу не пробовал говорить и, излишне напрягая горло, почти крикнул: «Я не собираюсь причинить вам никакого вреда» и, чтобы показать свои мирные намерения, сел в кресло у низкого столика. Он сидел, глядя, как они, небольшие, похожие друг на друга, очень медленно входили и выходили, старательно не замечая его. Но ему казалось, что они ждут чего-то страшного, жестокого, и странное высокомерное чувство вместе с обидой и раздражением: поднялось в нем. Когда

женщина, первой увидевшая его в коридоре, проходила рядом, он протянул руку и остановил ее. Их глаза были на одном уровне, и, прямо глядя на нее, он, стараясь говорить медленно и спокойно, повторил: «Я не причиню вам вреда. Мне нужна ваша помощь». Она покачала головой и, взяв с соседнего стола небольшой прибор, поставила его между ними. Он услышал свой голос: «Я не причиню вам вреда. Мне нужна ваша помощь». Жестами она показала ему, что нужно говорить в этот прибор и говорить много. Он начал с алфавита, затем вразнобой наговаривал технические термины, читал стихи, газетные заголовки. В зале давно никого не было, когда он почувствовал, что установилась какая-то связь,

— Теперь мы можем говорить? — спросил он.

— Да, мы идентифицировали ваш язык. Что вы хотите?

— Я хочу знать, где я, как я сюда попал.

— А вы не знаете, как сюда попали?

— Я очнулся на полу в коридоре.

— Вот как! Значит, вы материализовались прямо здесь. Случайность почти невероятная. Когда вы родились?

— Я родился в 1945 году от Рождества Христова.

— А когда умерли?

Он оперся грудью о стол, пережидая холодную волну, прошедшую снизу.

— Я не знал, что умер, но мне было сорок восемь лет.

— Значит, прошло восемьдесят тысяч одиннадцать лет по вашему исчислению.

Послушайте, мы ничего не можем для вас сделать. Вам нужно уйти.

— Господи, да обождите вы. Скажите, кто я такой, что с моей Землей и куда это я могу уйти — опять в этот коридор?

— О вашей планете мы не имеем сведений, это слишком далеко, а уйти вам необходимо: такие, как вы, живут в космосе.

— Да кто же это — «такие, как я»?

— Мы почти ничего о вас не знаем, в нашем банке данных только два упоминания о вас. Мы не должны контактировать. Нас здесь слишком много и слишком важна наша миссия. Мы просим вас уйти, если вы действительно не хотите принести нам вреда.

— Да, хорошо, я, конечно, уйду, но куда и как? Не могу же я пройти сквозь стену, там я сразу превращусь в ледышку...

— Вы не понимаете. Вы там и должны быть, а пройти вы можете через что угодно, через все.

Он положил руку на стол и, напрягая плечо, попробовал преодолеть сопротивление.

— Нет, не так. Стола просто не существует для вас.

Он поднял руку и свободно провел ею через весь стол поперек, а потом и вдоль. Что-то горькое и гордое поднялось в нем (восемьдесят тысяч лет!), и страх, и желание поскорее избавиться от всего. «Надо уходить», — подумал он, начиная ненавидеть все это, и боясь и стыдясь себя, ничего не сказав, не сделав прощального жеста, рванулся вперед и, очутившись в черноте, оглянулся, ища тот корабль. Ничего не было вокруг.

— Значит, слишком резко я стартовал, — успокаивался он. — Ну что ж, теперь надо понять главное. Ничего нового по сравнению с прежним, я не знаю. Но явно умею кое-что новенькое.

Подняв голову, он выделил из всех похожих на планету точек одну, чуть голубоватую, и с екнувшим сердцем (вдруг — Земля), то ли притянул ее к себе, то ли притянулся к ней, и лег грудью на ее пыльную поверхность. Привычный горизонт окружил его, и вдруг хлынувшие слезы освободили от чего-то мешавшего, саднящего. Усмехнувшись, он утопил себя вниз и через мгновение лежал на спине на

другой стороне «своей» планеты.

— Я призван или наказан? Для чего? За что?

Поднявшись, он стал ловить какой-нибудь знак, подсказку, но ничем не повеяло, никуда не поманило. Он лег на прежнее место, подтянув колени к груди, и застыл так.

На этот раз он очнулся вялым. Поднимаясь на ноги, разворошил сугроб пыли, который с головой занес его. Равнодушно глядя перед собой, он выбрал дальнюю звезду и метнулся к ней, потом к еще одной и еще. Одна, вся из гладкого льда, привлекла его. Он долго смотрелся в нее, старясь увидеть, что же там, под шлемом, разглядеть лило, глаза, но за темным стеклом то ли ничего не было, то ли ничего не было видно. Не думая, что делает, он расплавил, испарил это огромное зеркало. И тут же вспомнил страх тех маленьких людей.

С болью потянулся он в стороны и увидел, что занимает огромное пространство. Растягиваясь все больше, он включал в себя новые звезды, целые их скопления, с ужасом и с надеждой ожидая, что вот сейчас распылится, перестанет быть. Остановив свой рост, он стремительно бросился в центр самого себя и, став точкой, понял, что в нем ничего не изменилось. Тень понимания, догадки мелькнула и исчезла.

— Такое могущество и — полная беспомощность! Я могу сталкивать планеты с орбит, могу быть галактикой и атомом.

Он твердо знал, что ничто в его прежней жизни не давало ему надежды на какое бы то ни было избранничество и не грозило особой карой.

— Чистая математика, — решил он. — Мне не понять, для чего все это. Но явно не для того, чтобы устроить кутерьму в ничтожной точке бесконечности. Ждать, только ждать. Что же случилось со мной перед этой метаморфозой?

И он вспомнил. Он очнулся от резкой боли в правой руке. Скосив глаза, увидел толстую иглу, торчащую из вены. Возле него стоял штатив с капельницей.

— Ну вот, жить будем! — услышал он мужской голос и сквозь муть разглядел двоих молодых ребят, хлопчущих вокруг него.

— Жить будем, если пить не будем, — сказал другой. — А сейчас спать.

Он почувствовал несколько уколов и скоро стал сладко засыпать.

Днем он сидел за столом, прислушиваясь к себе, и рассматривал разноцветные таблетки, аккуратно разложенные вокруг тарелки, полной пустых ампул. Бумажку с расписанием приемов он держал в руке, к удивлению его, лишь чуть дрожавшей. Послушно вылив назначенную порцию, он сказал: «Будем жить».

Он шел по коридору, не встречая ни одного знакомого. У двери с надписью «Секретарь» он заколебался. Дверь внезапно открылась, выпуская: группу людей, и он шагнул в приемную, сразу схватив взглядом обе таблички. На правой, которая побольше, была нужная ему фамилия. Вопросительно взглянув на секретаршу и получив в ответ кивок, он вошел в кабинет. Через несколько минут они пили кофе, он отчитывался за двенадцать лет, неимоверно быстро промелькнувших. Вшил на пять лет. Нет, даже и не тянет. Подписав договор, сунув в карман приятную пачку, он шел и думал: «Господи, дружище, да. черт с ним, что не по специальности. Конечно, язык помню. Все подпишу, все сделаю. Жаль, своих мало осталось. Надо газеты почитать, что делается на свете. В Лондон во вторник. За четыре дня документы оформят».

В его новеньком «Вольво» горели на панели два красных квадратика.

— Надо колодки заменить, — подумал он.

Заехав в гараж и заглушив двигатель, он, сладко потягиваясь, вошел в кухню и рухнул от удара по голове. Крепко связанный, он сидел на стуле, тупо глядя на троицу стриженных квадратов.

— Ну, что, как говорится в американских фильмах, будем из себя героя корчить

или поговорим?

— Поговорим, — отвечивал он.

— Где бумага из Токио?

— Я отдал их шефу. — И сразу дернулся от пощечины.

— Теперь наш шеф — шеф, а твой шеф в морге, и, если хочешь присутствовать на его похоронах, быстренько — договоры из Японии.

— Слово? — спросил он.

— Что — слово?

— Что буду присутствовать на похоронах.

— Ты нам не нужен, живи.

— Развяжите.

Один из троих достал пистолет, другой разрезал на нем шнур. На втором этаже он снял со стены картину.

— Отопрешь сейф, дверцу не открывай, а отойди в сторону, понял?

— Ясно.

Он отошел от сейфа. Двое рылись в бумагах, третий, с пистолетом, рассеянно следил за ним. Он медленно положил руку на спинку дивана и, дав ей соскользнуть к стене, нащупал рукоятку и в упор уложил всю троицу.

Он долго смотрелся на себя в зеркало.

— Ну почему, ну зачем...

Собрав все ценное, он принес из гаража две канистры с бензином, тщательно облил комнаты, лестницу, плеснул немного в гараж и, выйдя на веранду, бросил спичку, убедившись, что занялось, пошел к станции.

В комнате было полно пыли, по кухне сновали тараканы. Он бухнул сумку на пол. Не раздеваясь, сел за стол. Налил водку в грязный стакан.

— Будем пить, — сказал он.

7. АМПУТАЦИЯ

Ничего не случилось. Погас свет. Погас свет в чужих глазах, а в мире — в твоём мире — стало темней. Сумерки старости. Все меньше любящих тебя рядом, все меньше любимых тобой. Не замолишь грехов перед ушедшими, не отдать долгов, и только мысль: «Скоро и я за вами» даёт дышать. И, не считаешь выкуренных сигарет, с радостью прислушиваешься, как щемит сердце.

Он поправил цветы и двинулся к выходу с кладбища. Около дома вдруг услышал визг тормозов и, подброшенный в воздух, подумал: «Вот и все».

Пелена медленно сползала с глаз, и проявилась его комната, странно уменьшенная. За столом сидели двое в черном и играли в карты.

— Ну вот, вроде очухался, — сказал первый.

— Вы не обижайтесь на него, он бывает грубоватым, — повернулся к нему второй.

— Ну да, — «грубоватым». Сейчас начнутся истерики, дурацкие вопросы, биение в грудь. Нет чтобы сразу быка за рога, и все, — ворчал первый.

— Ну, зачем ты так? Мы же еще даже и не поговорили, — успокаивал второй.

Он сел на кровати и тупо переводил взгляд с одного на другого.

— Я действительно ничего не понимаю. Какого быка, что со мной, о чем нам говорить?

— Ну, вот видишь, ему и говорить с нами не о чем.

— Вы не обижайтесь на него — он всегда торопится. Дело в том, что вас сбила машина. Бык тут ни при чем, а поговорить нужно о вас, о жизни, ну, и обо всем, о чем вам захочется.

— Мне ни о чем не хочется. Хочу покоя!

— Во, во, он хочет свободы и покоя. Забыться и уснуть. Михаил Юрьевич!

— Вы не обижайтесь на него — он иногда исключительно неудачно острит. Видите ли, ваш недавний внутренний монолог, ну, вот, мол, что все меньше любящих и так далее, дает некоторые основателя полагать, что любите и жалеете вы больше себя, а ушедших вините в причиненных вам огорчениях.

Он даже отшатнулся.

— Ну как вы можете? И мысли такой не было...

— Мысли у него не было, — перебил первый. — Сигарет он не считает. Да не кури!

— Вы не обижайтесь на него — он несколько упрощает, но согласитесь с тем, что лучше не грешить перед живыми, чем в запоздалом: и бесполезном раскаянии тревожить умерших шумами в сердце.

— Обождите, пожалуйста, дайте собраться с мыслями, пожалуйста! Конечно, лучше, но, если молодой, если получилось. Без жизненного опыта. Никогда я теперешний не сделал бы того, что тогда. Ну, наверное, и жалость к себе, и желание оправдать себя тогдашнего, но ведь боль моя теперешняя и понимание не сравнить...

— Ага, теперь он, понимаешь, «теперешний», а давеча он был, понимаешь, не теперешний.

— Вы не обижайтесь на него — он иногда излишне ироничен, но, может быть, не жизненный опыт сделал вас добрее и мудрее, а понимание конечности бытия?

— Точно! Сдрейфил помереть и стал грехи замаливать. Всегда так.

— Вы не обиж...

— Я не обижаюсь... Пусть не стал мудрее, но добрее точно стал. Эта моя жизнь... И не сдрейфил я, и сейчас не дрейфу или не дрейфлю... Что заслужил, то и получу.

— Ага, прямо, как сдачу в кассе. Щ-щ-щас выдадим ему нимб за то, что никого не убил, и крылышки за то, что не ограбил.

— Вы не обижайтесь на него — он иногда пересаливает. Давайте, не торопясь, начнем сначала. Ну, вот хотя бы, э—э, первая любовь.

И он увидел. Они сидят на кровати. Он целует ее прыгающими губами. Ее руки то помогают ему расстегивать блузку, то отталкивают его. Когда все свершилось, она не плакала, плакал он.

Как-то незаметно на ее месте оказалась другая. Потом еще, и еще...

— Да... Сильное было чувство! Она тихо жила. Растила сына. Вы ведь посылали деньги? Ну да, посылали. Показать сына?

— Не надо.

— Да что ему сын? Он жизненного опыта набирается. Не! Выдача крыльев отменяется. Почти стихи!

— Вы не обижайтесь на него — он немного утрирует. Но как-то не стыкуется у вас: зачем жизненный опыт, чтобы поступать. .. скажем, как-то иначе?

— Все! Все! Хватит! Вы доказываете мне то, что я давно без вас понял. И всем говорил. Вы выхватываете из моей жизни фрагмент и крутите его передо мной и так, и этак, а я не фрагментами жил, а непрерывной жизнью, и в каждый ее момент разными и противоречивыми были и мысли, и желания, и поступки. Казалось, что всегда есть время что-то доделать, исправить. С кем-то не встретился, кому-то не помог, чуть покривил душой. Вот это и есть отсутствие опыта. А когда он пришел, глядишь — уже поздно, и начинаешь все перебирать в памяти: и то не так бы сделал, и другое. И действительно сделал бы не так, будь в то время... ну, то, о чем я говорил.

— Да, нимб все-таки придется выдать.

— А ты молчи, тупой и жестокий, не знаю, кто ты там... А то на тебя так обижусь!..

— Ну—ну, не надо ссориться. Успокойтесь. Вот ложитесь, вам надо поспать.

— Ну, что скажешь?

— Что сказать? Совесть проснулась, но вроде от страха, хотя и то правда, что не совершил бы он всего этого, не спи она у него так долго... Так, обрубок, ни с чем пирожок. Пусть с ним те, другие», разбираются.

Когда он проснулся, за столом сидели двое в белом и играли в шахматы.

— Нет, только не это. Я больше не могу.

— О чем вы, дорогой друг?

— Я не выдержу больше. Надо кончать со всем этим.

— Не надо так беспокоиться. Что случилось?

— Меня сбила машина.

— Это мы понимаем.

— И вчера двое целый день мучили меня.

— Целый день?

— Да. Черти.

— Кто, кто?

— Черти, они были в черном и пытали меня.

— Пытали?

— Ну, не физически, но это было еще хуже.

— Ужасно!

— Вы понимаете? Может быть, вы не знаете, но жизнь страшно сложна.

— Ну, конечно.

— А они вытаскивали самые неприятные моменты, как из целого фильма отдельные кадры, в которых может быть и драка, и постель, но фильм не об этом.

— Как нечестно! Как можно от незнающего азбуки требовать читать, да еще с выражением?

— Вот, вот! Вы очень точно сказали.

— Да вы присаживайтесь к нам. Немного вина?

— Вина? О да!

— Пожалуйста. Жестокость, что здесь, что там, рождает только жестокость. А вот доброта, умение понять другого вызывают добрые ответные чувства, и человек открывается с лучшей стороны. А если тыкать в глаза только юношескими грешками, то и просмотришь все позитивнее, что было в человеке.

— Я не сказал бы лучше и точнее. Вот вы понимаете, как все не просто.

— А на что же они особо нажимали?

— Да на все. Ты, говорят, и без опыта должен был знать, что и как. А разве можно без азбуки?

— Вы пейте, пейте. И с какого же времени они заставили читать?

— С любви, с первой.

— Ну, к тому времени азбуку-то можно было выучить, но давайте посмотрим, как все там было, а то без опоры на факты трудно судить.

— Да, я не знаю, право. Ну, давайте, вы-то должны понять. И опять, все сначала, только женщины с его кровати теперь переходили к двум белым. Он ничего не замечал.

— Ну, что ж, друг мой, наливайте себе. Я скажу, что у юности свои права, а любовь — чувство столь сложное, что разобраться в нем мало кому дано. Конечно, можно было бы и остаться с ней, воспитывать сына. Но кто знает, что лучше, что хуже.

— Да я и не оправдываю себя. Если смотреть отстранено, в отрыве от всего, то, вроде, и все ясно, а в колготне жизни сразу и не разберешься.

— Чем же еще они вас мучили?

— Да я поругался с ними и заснул.

— С ними — поругались?

- Ну да, там один такой въедливый был.
- Ясно. Значит, они вас больше не пытали?
- Нет, разговор был вообще о жизни.
- Ну, что ж? Это тоже нужно.
- Что, смотреть будем?
- Нет, достаточно вашего свидетельства.
- Работал, два раза женился, но меня это как-то не задело сильно. Ну, выпивал там, курил, а у вас закурить нет? Вот спасибо. Давайте, выпьем. Целей больших не было. Так, как все. Что-то меня в сон клонит. Можно? Вы уж судите по-честному. Что Губина тогда не поддержал, так это мне квартиру... квартиру...
- Ну, что? Наш?
- Да ну его! Аморфный. Согрешит — раскается, раскается — согрешит. Пусть живет. Может, куда-нибудь прибьется. Доиграем партию?
- В операционной врачи стягивали перчатки.
- Да! Не думал я его вытянуть.
- Организм железный. До ста лет доживет. Не меньше.
- Без ног жить можно. Левую руку еще подремонтируем.
- Пошли. У меня там спирт есть, ноги не держат. Машенька, ты с нами?

8. ХРАНИТЕЛЬ

Он шел по направлению к неясно очерченному облаку, держа сына за руку. Оставшиеся у корабля уселись в кружок спиной друг к другу и, держа на взводе оружие, напряженно всматривались в чужое небо.

- Здравствуй, хранитель, — сказал он.
- Зачем столько предосторожностей и зачем оружие? На моей планете безопасность гарантирована даже самым надоедливым визитерам. Все вопросы сразу. Думаю, что полчаса я выдержу.
- Хранитель, это — я, — он вынул из кармана брелок и как-то неловко протянул его вперед.
- Облачко дрогнуло и приняло очертания, напоминающие абрис человека.
- Да нет! Люди столько не живут.
- Я же космолетчик, Хранитель.
- Да. Так. Я стал совсем стариком. Ну, здравствуй. Я часто вспоминаю о тебе. Пойдемте ко мне. Я и сам давно не был дома.
- И как давно?
- По вашему времени около трехсот лет.
- Там, наверное, полно пыли, Хранитель.
- Нет, пыли там нет.
- Они шли к четко вырезанным на фоне неба горам.
- Что-то мы очень быстро пришли, — сказал он, проходя: в открывшуюся неразличимую даже вблизи дверь.
- Увидел тебя, и захотелось кофе с этой штукой — помнишь?
- Помню, Хранитель.
- Садитесь за стол, а то кофе остынет.
- Кофе — это хорошо, а где та штука?
- Та штука? Потом. Ты ведь не зря прилетел, да еще и с вооруженными людьми.
- Это не люди, Хранитель.
- Все равно. Зная меня, ты мог бы и не везти этот арсенал.
- Они могут очень всем нам пригодиться.
- Ты шутишь?

— Нет, Хранитель.

— Да не зови ты меня этим дурацким именем. Сюда каждый месяц притаскиваются по десять - двадцать любопытных кретинов самого разного вида, в частности, и вашего, и я всем даю посадку и всем отвечаю на тысячи, сотни тысяч вопросов, одинаковых вопросов сотни тысяч раз. Они лезут по последнему моему пристанищу, все вынюхивают, все прощупывают, все измеряют, просвечивают, снимают и зарисовывают. Меня сканировали такими приборами, что тебе и не снилось. Так что я храню, и чего я хранитель?

— Ну, со мной ты мог бы и не хитрить. Прожив неведомо сколько лет, или циклов, как ты их называешь, ты видел Начало и Конец. И не один раз. Нам, не таким, как ты, не выдержать груза конечного знания. С ответом на все вопросы иссякнет интерес к жизни и, возможно, сама жизнь. Я прав?

— Да. А кто это с тобой?

— Это мой сын.

— Сын?

И он надолго замолчал.

— Пейте кофе. Хотите чего-нибудь поесть?

— Нет, Хранитель, мы не голодны.

— Значит, сын. Это хорошо. Давай выпьем этой штуки.

— Давай. Выпьем. Которую из множества этих штук?

— Ту штуку, что мы пили с тобой в последний раз.

— Последний раз мы: еще не пили, но я тебя понял. Армянская штука.

— Подогреть тебе чуть-чуть?

— Нет, нормально. Скажи, Хранитель, ты бывал на Земле?

— Нет, но я знаю, где это.

— А у тебя есть враги?

— Враги? Нет у меня врагов, кроме любопытных, или, по—твоему, любознательных. Ты перестань спрашивать, говори, что случилось.

— Случилось то, что вокруг меня становится пусто. Близкие мне люди исчезают, исчезают бесследно.

— И ты думаешь...

— Да, я думаю, что это направлено против тебя. Как писано во всех энциклопедиях, ты контактировал в обозримом прошлом только со мной. Описывают аварию, мое спасение и все остальное.

— Да, только не пишут, что ты свалился прямо на меня и переломал бы мне что-нибудь, если бы у меня было что ломать.

— Неважно. Единственное, что было в моей жизни знаменательного — это встреча и дружба с тобой. На мне твой амулет — и я цел, а десятки людей, хоть что-нибудь значащих для меня, исчезают. Последней была моя жена.

— Вот как. Мне очень жаль. Ты думаешь, что мой гипотетический противник вынудил тебя прилететь ко мне за помощью и здесь рассчитаться со мной, а заодно и с тобой? Я понимаю. Но мне нельзя повредить. Мой подарок оберегает тебя, а на этой планете, моей планете, ты ни для кого не достигаем. Скорее всего, сотворив с твоими близкими такое, они (я думаю, их несколько) хотели нанести удар и по мне. Они добились своего, Я в горе. Почему твой сын молчит?

— Он глухонемой, Хранитель.

— С рождения?

— Нет, он оглох и почему-то потерял дар речи в двенадцать лет. Младенцем он играл твоим брелком, грыз его, когда резались зубы, и, наверное, это все, что они смогли с ним сделать. Он читает по губам. С тобой ему труднее.

— Хорошо, я четче обозначу рот. А что же ваши врачи?

— Ничего не могут сделать.

— Ладно. Это мы исправим... Скажи, когда все началось, пытались ли они связаться с тобой, просили ли что-нибудь сделать, угрожали ли, шантажировали? Был ли хоть какой-нибудь знак?

— Все прокручено тысячи раз. Я стал неврастеником и во всем вижу перечисленное тобой, особенно по ночам, но, придя в себя, я четко и ясно осознаю, что ничего даже похожего не было. Эта Тишина, это презрительное равнодушие добивает меня... Я не так богат, чтобы снарядить экспедицию к тебе. Мне помогло правительство. Прости, но другого выхода у меня не было. Я всю вселенную заполнил призывами к тебе.

— Я не телепат, у меня совсем другая энергетика. Мы могли бы связаться с тобой, догадайся мы обозначить точное время и место твоего нахождения, да и то вряд ли получилось бы. На таком расстоянии время подведет обязательно. Ну, это мы обсудим после... Что ты предлагаешь?

— Я думаю, Хранитель, тебе нужно вернуться в те времена, когда ты был не один. Очевидно, что твоя память хранит все, но все ли ты можешь вызвать из памяти без какого-то толчка извне? Что когда-то казалось мелочью, не стоящей внимания, то теперь может стать если не объяснением, то хотя бы поводом к догадкам.

— Ты всерьез говоришь о возвращении? Вернуться назад можно только в воспоминаниях, а я больше ничем иным и не занимаюсь. Нет там ничего, что могло бы нам помочь. Искать надо там, где ты. Эта странная сила, обездолившая тебя, должна войти в контакт со мною, но не здесь, а у тебя дома. Я отправляюсь на Землю. Им нужен я, или ничего не нужно, и они просто забавляются. Молчи, за той дверью — запас воды и питья. Отсюда не выходите. Да вы и не сможете. Твоим роботам что-нибудь нужно? Упрячь их в корабль, пусть не пугают моих любимых искателей ответов. Я не Господь Бог, хоть вы и приписываете мне его функции, и я не столь долготерпелив... Я найду этих ребят, и они будут пылесосить мою планету до конца их или моих дней... Да, твой сын слышит и говорит. Привыкайте к этому. Все.

...Он появился в странном растрепанном виде. На лице красовалось подобие пенсне с разбитыми стеклами. Не обращая внимания на вопросительные взгляды, он плюхнулся в кресло и, распространяя запах спиртного, запричитал:

— Ну и история. Вот это история. Я и предположить не мог, что такая история: возможна. От нее смердит. Я не в силах прийти в себя.

— Что за история, Хранитель?

— Да ваша, ваша история. Земли история — постыдная. Недостойная. Кровь, ужас. Я поражен, я потрясен.

— Хранитель, что ты узнал?

— Все. Все я узнал. И не смотрите так на мои очки: я прочитал вашего Булгакова.

— Хранитель, что с моей женой, что с остальными? Он снял пенсне и бросил его в угол.

— Друг мой, все гораздо проще и страшнее, чем мы думаем. Их больше нет... Перестань!.. Дело вот в чем:: никаких врагов, никаких происков. Когда мы привязались друг к другу в далеком прошлом, ты привязался фигурально, а я, оказывается, — абсолютно реально. И, уехав, ты унес с собой частицу меня, а часть — это не осколок зеркала, отражающий то же, что и целое. Эта моя часть по-своему оберегала тебя. Твои ушедшие близкие, наверное, злословили, сплетничали, завидовали...

— А жена?

— Жена собиралась бросить тебя.

— Ну, а сын?

— Сын знал о ее романе... Случай свел нас, и расплата чрезмерна и непосильна.

— Ничего нельзя изменить, Хранитель?

— Я обязан был предвидеть! Увы, ничего нельзя изменить, можно только не

допустить новых жертв.

- Я должен остаться здесь?
- И ты, и он.
- А почему он?
- Потому что.
- Ясно,
- Я выкупил твой корабль вместе с арсеналом. Будем ползать по Космосу. Мне есть чему научить этого парня, да и тебя тоже. Хотите кофе?

9. ОТКРОВЕНИЕ

Тот—Кто—Может—Все пребывал в глубокой задумчивости.

Мир, еще не созданный, но видимый Им во всех бесчисленных вариантах, и привлекал, и отталкивал Его.

Не нуждаясь в рабах, Он желал дать будущим обитателям мира разум и свободу. Велик соблазн свободы и многотруден путь разума.

Каждый их поступок менял облик мира от ослепительно прекрасного до кроваво мрачного, от вечности до ничтожной вспышки в точке Вселенной.

Он прочитал все их книги, увидел все их картины и услышал всю музыку.

Все камни и стрелы, все пули и ракеты, все подлости и мерзости их ранили Его.

И Он не торопился открывать отсчет их времени, их величия и их ничтожества.

Ничто не могло изменить принятого Им решения, но еще и еще Он всматривался в будущее, которое было для Него и настоящим, и прошлым.

Видел Он взрослых дядей, что называли себя «папами» и Его заместителями, очень веселил Его человек по имени Чарльз Дарвин, а маленький кособокий человечек привлек его названием: своей рукописи. Сидя в грязной крохотной каморке, человечек дерзко вывел: «Книга Бытия от Макара».

— Сыны и дочери Божьи, спешу сообщить вам, что свиньи вы собачьи, прости Господи.

— Не было мне дано ни видений, ни откровений, кроме того, что даровано всем, всем отмерено и взвешено.

— Каждый свободен совершить подлость и предательство, и воровство, и каждый свободен не совершить его.

— Каждый волен пролить кровь и каждый волен не проливать ее.

— Каждый рождается светлым и чистым, а с чем приходит он к концу своему ?

— Чужой жизнью вы питаетесь, обрывками мыслей вы существуете.

— Толкаетесь и рвете друг у друга то, чего всем хватает.

— Сбиваетесь в стаи и говорите: «Я такой, а они не такие», не понимая, что каждый приходит один и уходит один, и ответ один у всех — и у тех, кто в пирамиде, и в склепе, и в мавзолее, и на погребальном костре, и в тихой могилке.

— Жизнь ваша скоротечна и нелегка; много ли вам надо золота, бриллиантов, власти, лжи и мерзости, а много ли — добра, и любви?

— Скучные духом и умом, знаете ли вы, что выбрать.

— И не падет звезда - полынь, никто не сорвет третьей печати, всадник на бледном коне всегда здесь.

— Все, что было сказано, — исполнилось.

— Только не найдется ста сорока четырех тысяч из двенадцати колен. Спасетесь вы или все вместе, или никто.

И тогда Тот—Кто—Может—Все начал отсчет времен. Был день первый.

10. МАЛЫШ

Он откатился на другую плиту и с трудом поднялся на ноги. Еще чуть-чуть, и было бы поздно. На этой можно побыть подольше. Медленно уменьшалась седая борода, сила возвращалась в одряхлевшее тело. Никакой системы. На одной плите он молодеет, на другой стремительно стареет.

— Думай, думай, — кричал он мысленно. В зале несколько сот плит, не все они мне нужны, если пометить основные, то, пожалуй, задуманное можно осуществить. Так, на которых быстро молодею — кусочки рубашки, на которых медленно — брюк, на быстро старящих — клочки трусов, на медленно — ничего.

Он быстро разделся. Все это время он переступал с плиты на плиту, поддерживая нужный ему возраст. Так можно было топтаться вечность, но не было у него в запасе вечности. Ему нужно было выйти: отсюда, и выйти таким, каким он сюда попал — двадцатипяти - или около того - летним. Иначе все теряло смысл. Проделав свою комичную разметку, он двигался теперь по залу уверенно, не рискуя заходить ни за верхнюю, ни за нижнюю черту. От выхода его отделяло шестнадцать рядов, все они быстро молодили, значит даже эмбрионом ему не выкатиться за порог. Начав движение вперед слишком старым, он физически не сможет выполнить задуманное, слишком молодым — лишь гипотетическая душа обретет свободу.

Он стал точно измерять свой возраст в разных местах зала по шрамам и царапинам, благо их полно, да еще по маленькой татуировке, сделанной в четырнадцать лет. После ряда вылазок на первый и второй ряды он овладел всеми исходными данными и, двигаясь по залу сложными шахматными ходами, он рассчитывал и перепроверял расчеты, и вдруг, проделав умопомрачительную комбинацию, в бешеном сальто вылетел на свободу.

Он ошибся на пару лет: ссадина, полученная именно тогда, при падении с брусьев, красовалась на плече.

— Вот так решает задачи Умник, — похвастался он. — А теперь займемся этой хронословочью.

Он перебирал варианты: сжечь, взорвать, затопить, закопать, заморозить, замуровать, сделать невидимой, подсунуть что-нибудь, чтобы она съела сама себя?

— Камень, — решил он.

Камень был скалой, а то и горой. Помолодеет и разопрет эту штуку. Он бросил. Камень звонко цокнул, покачался и застыл. Действует только на органику. Слюна — органика. Он сплюнул и пошел ждть темноты.

Наутро он открыл дверь класса и, вволю насладившись тишиной, скромно сказал:

— Прости, учитель, я опоздал.

— Умник, иди домой и жди меня там, остальные тоже свободны.

Они сидели напротив друг друга, между ними песочные часы: старый договор — говорить по очереди, не перебивая.

— Ну, что ж, ты первый, Малыш.

— Ты давно уже не называл меня так, учитель.

— Умник, это хорошо для школяра, а через три дня все вы будете магистрами, баристрами и будут звать вас полными именами, а кличку «М«шьпп» дал я тебе двадцать лет назад, потому что ты был самым огромным, так и зову тебя про себя. Говори, Малыш, выброси часы. Только позволь два вопроса.

— Я слушаю, учитель.

— Ты знаешь, что мы не терпим жестокости. Было ли тебе больно, страшно, просто некомфортно там, где ты был и что мы называем хронотроном?

— Нет, учитель, я не испытывал никаких неприятных чувств.

— Тогда зачем ты вернулся?

— Я вернулся, чтобы услышать тишину сегодня в классе, а потом сидеть с: тобой

и долго говорить.

— Говори, Малыш, я прожил много лет, выпустил много учеников, но ничего важнее для всех нас еще не происходило.

— Учитель, ты говорил нам, что знанием мы равны тебе — минус жизненный опыт. За двадцать лет в классах, в экспедициях, в гипнокамерах мы узнали столько всего, что только число дисциплин будет большим, чем песчинок в этих часах. Через три или, вернее, через два дня мы все придем на комиссию, где с вашей помощью изберем Дело. Для большинства нет проблем — они знают, чего хотят. Я же, учитель, с возможной точностью нарисую тебе картину моего будущего. Можно?

— Конечно, Малыш.

— На комиссии я заявлю, что интересуюсь медициной. Допустимо?

— Твои успехи позволяют тебе заняться любой из наук, почти всеми видами художеств и абсолютно любыми ремеслами.

— Так, вот, медицина, а точнее — влияние охлаждения левой пятки на интенсивность чихания правой ноздри со всеми вытекающими отсюда составляющими. Принимая во внимание малоизученность вопроса, мои высокие баллы, а также свободу выбора, я получаю положенные мне средства и все прочее. До мельчайшей детали я расскажу тебе, что произойдет изо дня в день, из года в год. Как я обрасту десятками и сотнями людей, лабораториями, секретными и нет, транспортом и бухгалтерией, своей школой и т.д. и т.п. И вот, выжав, как лимон, свой институт, я выдам рекомендации по повышению температуры вкладыша в обувь на $0,42^\circ$ с коэффициентом для планетарных зон и открытого космоса. Интенсивность чихания уменьшится у населения на 30,8, в армии — на 44,6 %. Я буду уже немолод, но импозантен. По случаю избрания меня академиком ты придешь, Учитель, и в блистательной речи отметишь непреходящий вклад науки академической в прикладную. И я тогда не спрошу тебя: «Учитель, где те семеро из нашего класса, ушедшие в хропотрон до меня?» Поэтому я и спрашиваю сейчас: «Где?»

— Ну, что ж, Малыш, твой гротеск близок к реальности, хотя ты избрал лучший вариант. Ведь все могло кончиться не так блестяще — я имею в виду не мою речь, а твою карьеру. Ты забыл, что это еще и люди, которых ты встретишь, любовь, которую ты то ли встретишь, то ли нет. Это дети, может быть, и твои, которые будут чихать менее интенсивно на 30,8 %. Ты совсем забыл, Малыш, что сотни тысяч вчерашних школяров по только что созданной тобой схеме работают над проблемой снижения частоты чихания, попадания в «черные дыры», продления жизни и прочих, и прочих мелочах. Несть им числа. Очень многие занимаются и тем, чем живет твоя душа, но они занимаются, а ты... Помнишь древнюю книгу с дальней планеты: не взошло солнце и не взошла луна, а взошла беда, для всех разная, но одна на всех. Корой оделось сердце. Мысль в темноте черная и кровь черная. Явное стало тайным, ненужное — нужным. Слепые стали поводьями. Кто поверит зрячему? Нет исхода, кроме как из темноты в темь. При свете души бродили в потемках — в ночи и души не надо. Свет — радость, тьма — тоска. В тоске бредут за слепыми, радуясь, когда не упали. Ветер кружит, откуда ветер дует — туда и идут, думая, что вперед. Музыка их — вопль, а похороны им праздник. Как рыбе, рожденной в глубинах, не видать им света. Не жалея их — они довольны собой, не люби их — порвешь сердце свое. Нет исхода.

— Ты пришел грозно спросить меня, где те семеро и где был бы ты сам, если бы, черт знает как, Господи прости, не сумел бы уйти оттуда. Так вот, Малыш, ни я, и никакая комиссия не смогли бы построить этот хронотрон. Это был ответ на ваш талант, на вашу боль, на ваше стремление знать и помогать.

— Ну, хорошо, Учитель, но там в этом хронотроне можно уйти совсем дряхлым или совсем еще и не родившимся.

— Малыш, поставь точку на плоскость стола, да нет, мысленно, а теперь возьми

ее в руки. Где верх, где низ? Все вы были одержимыми. Вас позвали туда, куда ты рвался, и уж, конечно, был нужен.

— Ну да, ну да, я не понял, я, как школяр, захотел решить еще одну задачу, и решил ее. Я бегу туда снова.

— О, нет, дорогой. Сказано в другой книге: много званых, да мало избранных. Пойдем со мной.

Гулкими школьными коридорами они пришли в класс, включили компьютер и против имени Малыша прочитали — Учитель.

11. БЕССМЕРТИЕ

«Дорогой мой!

Один человек определенного свойства может задать столько вопросов, что пятьсот мудрецов не ответят.

Вся твоя жизнь — сплошной вопрос. Подвела тебя великая литература, наглотавшись которой, ты решил, что вот здесь — настоящие чувства, настоящие страсти, а то, что в тебе, — мелко и незначительно. Постоянно подавленный мнимым чужим величием, ты то пил, то хамил, то пил и хамил вместе.

Не злобный и не завистливый, ты странно ужимался. Искренне приписывая несуществующие достоинства всем и всему, ты скомкал свою жизнь, как невнятную косноязычного фразу.

Любой сопливый психиатр-троечник, покопавшись в твоём детстве и потревожив память дедушки Фрейда, назовет с десятков маний, фобий и комплексов, а, назвав, успокоится, ибо для него то, что названо, понятно. Но ни ему, ни тебе не узнать, чьи нежные руки провели тебя через всю твою пьяную рискованно-похмельную жизнь, сколько раз ты должен был быть изувечен, сколько — мертв.

Из того зла, что мог сотворить, успел лишь многую толику, а теперь мечешься, не зная, чем заплатить за прошлое, но никто тебе займы ничего не давал.

"Мене, мене, текел, упарсин". Зло будет наказано, добро поощрено. Не тебе заботиться об этом. Делай, что можешь, остальное придет.

Пока мы ощупью ползали по кругу, пробуя его на вкус и запах, на прочность и изгиб, ты стоял в стороне и видел, что это просто колесо и спицы слились от быстрого вращения в круг. Не зная деталей, знал целое. Не знал — где, знал — что. Причудливая судьба, ничего не знать точно, но знать верно.

Поднимаясь из младенчества в зрелость, мы тратили столько сил на узнавание, на ошибки, на самоутверждение, на завоевание того, что не нуждается в завоевании, что, пройдя перевал, одинаково — и преуспевшие, и неудачники — мы легко и быстро скользим вниз, в неизвестное. Ты, соглядатай жизни, проскочил перевал девственно свежим.

Я заканчиваю одну бредовую работу, и мне нужен ты. Прилетай скорей!»

Они сидели: за столом.

— Ну, рассказывай, что ты задумал.

— «Задумал» звучит как «замучил», «задушил». Все расскажу, но сначала — что ты думаешь о бессмертии?

— Я очень осторожно отношусь к словам на «бес—»: бесконечность, бессердечность и т.д. Они, как правило, не бесспорны. Лучше говорить о долголетию.

— Нет. О бессмертии.

— Тогда оно невозможно, во всяком случае для человека в теперешнем его виде.

— Ну, человек или другое животное. Знаешь, есть такие мышки, живут три дня, так я хочу тебя познакомить с годовалой. Это, по нашим меркам, то, к чему ты относишься осторожно.

- Нет, это еще не это, это пока еще только долгожительство.
- Ну, так она и помирать пока не собирается.
- Слушай, ты зачем меня вызвал?
- Хочу вернуть тебя назад, в твое прошлое.
- Вместо мышки?
- Она не одна у меня, я со многими работал. Ни одной трагедии.
- Я не боюсь, я просто не верю.
- Почему? Ты не можешь допустить, что я загоняю их туда, где время течет

вспять?

— Да ничего никуда не течет. Зная тебя, я верю, что живут у тебя эти долгоиграющие мышки. Ты нашел что-то, что продвигает им жизнь, но это не имеет отношения ни к времени, ни — уж тем более — к его обратному течению.

— Ну, если можно ускорить ход времени, то ясно, что можно и замедлить его и даже повернуть вспять: так сказать, поменять знаки.

— Нельзя ни ускорить, ни поменять того, чего нет.

— Ты не пугай меня, я знаю, что ты глуп, но не настолько же, чтобы отрицать теорию относительности.

— Все теории хороши, и эта — тоже. Не настроен я на спор.

— Ты послушай меня. Для тела, движущегося с субсветовой скоростью, время течет по-другому, чем для тебя, болвана. Это доказано, понимаешь, экспериментально, документально и фундаментально. Я улетаю в Космос, оставляя тебя, кретина, на Земле, и, вернувшись через десять лет, найду только твоих потомков, потому что...

— Никуда ты не улетишь, и потомков у меня нет. Пойдем мышек посмотреть.

— Ты что — действительно спятил? Ты отрицаешь очевидное? Общеизвестное? Да тебя упрячут в такую временную камеру, что ты сразу поймешь, где время течет быстрее — на свободе или в дурдоме.

— Это будет очень субъективно.

— Ну, а объективно ты что — отрицаешь Эйнштейна?

— Один камень, два камня. Да ничего я не отрицаю. Ну, вот смотри, я дарю тебе вечность. Что ты будешь делать с ее первой половиной?

— Черт! Черт! У вечности нет половины!

— Ну, а раз нет половины, то нет и никакой другой градации. Вот спор и кончен.

— Казуистика-софистика.

— Да нет, просто разные категории, есть камень, а есть дух.

— Объясняй!

— Ну, вот лежат часы, калькулятор, магнитофон, взрывное устройство. Все не работает — хлам. И вот лежат батарейки. Тоже не работают — хлам. Соединил — и застучало, засчитало, заиграло, завзрывало. Батарейка — душа, созданная человеком для своих детищ. — А вот дерево, полип, слон, человек. Есть батарейка — растет, плавает, ходит, думает. Кончилась, или изуродовали прибор — умирает. Кто-то чуть совершенней человека создал батарейку для своих детищ. Время — атрибут этих батареек, как и скорость, и расстояние, у Космоса, у Природы есть только циклы — движение и пространство. Летит птица, для нее есть и скорость, и расстояние, для пера птицы — нет. Все водопады движутся вверх по течению, все горы слизывает ветер, пройдет время, и голая, лысая, как твой череп, Земля будет все медленнее вращаться, пока ее не станет.

— Ты сказал «пройдет время».

— Да, пройдет, но его не станет ни больше, ни меньше, чем было. Ты вот собрался лететь куда-то со скоростью света, а ведь сделай ты это, и твоей батарейки не станет, и некому будет возвращаться и разыскивать потомков одного кретина и измерять неизмеримое. Солнечный луч лениво полз к Земле целых восемь минут, а

я за это время побывал на краю Галактики, вернулся сюда, выпил стакан вина, озадачил тебя, уютно устроился в лунном кратере и, будь у меня желание, сделал бы еще массу дел. Вот разница между камнем и духом. Но все равно ты гигант, теперь до скончания веков будут говорить — это было до него, а это — после.

— Плевать! Я так хотел, чтобы ты что-нибудь поправил там, в своем прошлом.

— Плевать! Все не так плохо. Зато теперь через твою штуку пойдут иммунодефицитники, раковые и прочие тяжелые больные, потом богатые, потом все желающие с разрешения родственников.

— Плевать! Вот богатые-то разрешения родственников не получают. Ты — мой соавтор,

— Плевать! Не хочу.

— Почему, болван?

— Плевать! Все хорошо?

— Хорошо!

— Ну и хорошо, а там посмотрим.

12. КОЕ-ЧТО О ВРАЩЕНИИ

Как удивительно разнообразны взгляды и суждения разных людей об одном и том же предмете. Еще удивительнее, сколько людей не имеют вообще никаких взглядов и суждений ни о каких предметах. Со времени появления человека в теперешнем его виде нет ни одной мысли, идеи, принятой всеми, или хотя бы большинством, без оговорок и условий. Даже форма Земли до сих пор вызывает споры, а среди сторонников ее плоскообразия — горячие дискуссии о том, покоится ли она на китах, рыбах, слонах, черепахах, драконах, или свободной плавает в бассейне.

Так обстоят дела в области теорий. В практике наблюдаются в последнее время некоторые успехи: несколько арифметических догм почти не оспариваются, а о совокуплении в том или ином виде одобрительно отзывается около ста процентов респондентов. Этим списком исчерпывается зона согласия, и все остальные вопросы, такие как: бытие, происхождение, смерть, жизнь, запах, вкус, форма, брак, война, мир, питание, наука, спорт, совесть, бесчестье, образование, медицина, общение, воспитание, красота, знатность, успех, летосчисление, религия, государственность, сон, наркомания, мужеложство, овцеводство, градостроительство, закон и еще несколько миллионов наименований имеют столько же толкований и разночтений.

Знаю или не знаю, думаю или не думаю, сплю или бодрствую, жив я или мертв, круглая Земля все равно вращается и летит к чему-то неизвестному, но бесспорному. Так и жизнь человека — в сомнениях и муках или тупом скотстве — все равно летит к этому бесспорному, и должны же быть в ней столь же бесспорные законы, как законы вращения и полета.

Чем больше людей объединяется в согласии вокруг какой-либо идеи или понятия, тем более оно авторитетно, но только для них самих, для себя — они лучшая часть человечества, для всех прочих — еретики, заблудшие, непросветленные, а то и псы поганые, недорезанные.

Незнание закона уголовного не освобождает от ответственности, незнание закона жизни — от последствий, но кто же знает их, эти законы, если по поводу каждой запятой, не говоря о целом, есть тысячи мнений, миллионы суждений?

Я говорю, что родился и умру, а мне: «Ты всегда был и будешь». Я говорю, врать, воровать, убивать нельзя, а мне: «...только своим, у своих, своих». Я говорю, надо быть добрым, терпимым, а мне: «Только не к врагам отечества, рода, банды, секты». И все приводят доводы, доводы весомые, значимые, грубые, зримые. И некуда мне

деваться, я признаю: да, никаких общих законов нет, коли все правы, значит, никто не прав.

Но круглая-то вертится. И мы плохо, но живем. Нет ни в чем согласия, но существуем и сосуществуем. Не всех истребили, не все стали ворами, убийцами, политиками, остались же честные и чистые.

И это не от избытка веры или неверия. Ни то, ни другое не удержит от соблазна, проступка, преступления. И не от обилия идей; как раз от них больше всего мы и страдаем. И никаким добродетелям и достоинствам не удержать страсти и пороки в узде. Жесточайшие законы, страх, рабство, тотальная слежка и доносительство, ложь и лесть — все это в разное время и в разных странах, вместе и по отдельности, испробовано и испытано. О результатах можно не говорить. Стремление к глупенькому, маленькому, но своему счастью (а счастье — это возможно более полное и скорое исполнение всё множасьихся желаний) — неистребимо, и преодолевает все запреты, все преграды. Вот и приходится возводить всякие границы, стены, государства и прочую дрянь. Причем все эти армии, полиции, министерства, и всё, и всё, созданное для обирания людей, сами обираемые, оберегаемые и угнетаемые гордо оплачивают из своего кармана. Вот такова расплата за жадность и глупость.

Очень интересно проследить изменение морали по мере нисхождения ее от высших, частных, форм к низменным, государственным. То, что в частной жизни наказывается презрением, например, подглядывание, подслушивание, чтение чужих писем, кража чужих секретов, то в государстве поощряется и награждается, убийство же вообще приравнивается к деяниям сверхчеловеческим, т.е. божественным. Все без исключения государственные структуры образованы, поддерживаются, обслуживаются только беспросветной серостью людской.

Будь человек разумен, их существование было бы невозможным; ведь разумный не станет ни рабовладельцем, ни преступником, ни судьей, ни полководцем, ни политиком, ни полицейским. Его удел — золотая середина: вера без фанатизма, любовь без надрыва, строгость без жестокости, достоинство без надменности, жалость без унижения. Он не черный, не желтый, не белый. Он — человек. Он открыватель, а не завоеватель. Ему не нужно чужое.

Невероятно разнообразно племя дураков — от тупых фанатиков до образованных патриотов.

Разумный — штучен, индивидуален, но в основе своей скучно однообразен — он всегда гуманист. Платон с Сократом людишки были дикие и мало образованные: ели руками, да еще и лежа, законов архимедовых не знали, не говоря о том, чтобы управляться с автомобилем или компьютером. Леонардо по военному ведомству не проходил, а какие-то там субмарины да вертолеты изобретал. И не так уж и мало их, таких придурков известных, но нет — не они погоду делают, не к ним мир приспособляется, а совсем к другим — жадным и наглым, сильным и бессовестным.

Медленно-медленно вытягивают люди мысли и духа одного человека за другим из трясины бездумного безумия, но нет, не успевают. Скоро не скоро, но станет наша круглая плоской и будет продолжать вращаться, несмотря на то, спим мы или бодрствуем, живы или мертвы.

13. ДИАГНОЗ

Им обоим пришлось выучить по несколько языков разных групп, и старший считал, что обучение заканчивается, когда от чтения начинаешь получать удовольствие, а его коллега уверял, что высшая ступень — умение читать между строк, и оба

недоумевали, зачем столь малой планете такое языковое разнообразие.

Проникнув в очередное хранилище книг, художественных ценностей или фильмов, они тщательно все голографировали, так как изымать оригиналы было запрещено. Их меньше интересовали науки естественные, и они ограничивались необходимым, но когда дело касалось наук гуманитарных, особенно истории, истории философии, науки, религий, — тут они собирали все, каждый клочок, обрывок, намек, заведомые бредни и прямую ложь. Им необходимо было понять, где начало конца этой, казалось бы, жизнестойкой цивилизации. Во времени их не ограничили, сочтя задачу сверхважной, и они, не торопясь, проезжали маршрутами главных миграций, завоеваний и открытий, местами самых кровавых сражений, сопоставляя все со свидетельствами и стараясь представить, как это было.

Веселые, полные энтузиазма вначале, они все больше мрачнели и почти перестали разговаривать. В день, когда они решили разъехаться, чтобы поодиночке составить отчеты и потом сравнить выводы, старший сказал:

— Единый менталитет. Не должно было быть больших проблем. Они вполне могли договориться. Стандартное мышление. Дикарь и профессор Сорбонны одинаково говорили «идет дождь», и один прятался под пальму, второй открывал зонт.

— Да наплевать им было, идет дождь или не идет. Профессор знал причины осадков, дикарь — нет. При прочих равных разница интеллектов исключала контакт.

— Интеллект — сумма застывших мыслей, ум — способность к обучению, а тут они были равны, но я взял крайности. Кстати, эти две группы и не играли сколько-нибудь заметной роли в их жизни. Все решалось посредине между ними. Пусть будет хозяин отеля и, ну скажем, армейский офицер. Я отобрал для тебя один этюд!

«Встретился взглядом с бродячей собакой. Родная. Ну что я могу сделать? Мне тоже плохо жить с ними. Мне тоже мешают их дома и машины, все, что они придумали от лени и трусости. Ты мыслишь лучше, чем большинство из них, и уж во всяком случае честнее; Ты, как могла, дралась и любила на своей помойке, но ты не изучала карате и пособий по сексу, ты не знаешь, где болевые точки и эрогенные зоны. Я — ясновидящий, и знаю, что скоро налетит быстрая бесшумная машина, сомнет, перемелет тебя под днищем, и ты, выгнувшись, подпрыгнешь два раза, вытянешь в последней муке перебитые лапы и закроешь так похожие на мои глаза. Прощай, чистая душа». — Ну, кто из двоих написал это?

— Оба написали, но один продолжал жарить собак для клиентов, а второй — их есть. Слово не было для них делом. Их требовательность друг к другу была крайне низкой вследствие столь же низкой самооценки. Они выработали предельные, конечные истины, но большинство даже не слышало о них и чтит великих александров, чингисханов, наполеонов, гитлеров. Заметь, что все как один кончили полным крахом, но все равно остались для них великими.

— Не для всех. Послушай вот это:

«Один дегенерат из цветущей Македонии вознамерился дойти до края земли. Он не повесил котомку на плечо и не отправился странствовать в одиночку. Он собрал целое стадо послушных кретинов, и они весело прогулялись до самой Индии на восток и немного в Африку — на юг. Сколько перерезали по дороге народу, неизвестно, но, очевидно, много, ибо он получил кличку Великого. Предшественников и последователей у него тьма. Появившись на горе Земли, первые людишки сразу стали сбиваться в банды и интенсивно грабить и убивать друг друга. Из-за орехов и женщин, по мотивам патриотическим и религиозным, и просто так, потому что хочется. Да, еще за ради чести. И до сих пор этим занимаются, у всех флаг и гимны, у всех границы и стратегические интересы. Внутри границ особей живет много, и все согласны, что ими надо править, иначе или они сами перегрызутся, или те — другие — придут и их прикончат. И ведь точно —

придут. Наверное, каждый — немного Македонский. А те, что не македонские, те из стада. Есть несколько, которым не нужны президенты, ни раджи, ни даже полицейские. Они — знают». — Вот видишь, они знали.

— Утверждаю, что нет. Могли знать, но не знали. А этими несколькими можно пренебречь. Мы разными путями приходим к одной же мысли, и то, что знаю я, знаешь ты. Они одним путем приходят к мыслям противоположным, и я не нашел ни одной, не оспоренной другими. Я имею в виду не шарообразность планеты и не «дважды два» (хотя у них и здесь были разночтения), а главное: Бог, жизнь, смерть, творчество, свобода, И чем ближе соприкасались их верования и убеждения, тем сильнее неприятие. Вспомни: католики — протестанты, шииты — сунниты, большевики — меньшевики и т.д. Ты прав, говоря, что ни низший, ни верхний слой не играли роли в их судьбе, все решалось усредненностью, посредственностью, потому и решения были бездуховны, технократичны. Сначала дух, мысль должны достичь высот, а потом самолеты и ракеты. Мне понравилось, как один из твоих «нескольких» писал о посредственности:

«Вторые сутки он смотрел на луну. Она не двигалась с места. Скорбь его была велика, и он не пошел на службу. — Раз луна не заходит, значит, и солнце не взойдет, — подумал он. — И, весь в мучительных раздумьях, вышел из дома к реке, которая здесь никогда не протекала. Симпатичная рыбка морда высунулась из воды и долго молча смотрела на него. — Что ж будет-то, рыба, — в тоске спросил он. — Рыба ушла от ответа, и только долго морщилась. Луна в ряби на воде. Он вошел в реку и поплыл по лунной дорожке. Скоро начался шторм. "Штормовать в далеком море", — запел было он, но вода была пресной, и он замолчал. "Эх, сейчас бы выпить", — помечтал он и ткнулся головой во что-то твердое. Забравшись на грязную палубу, он увидел много тварей. — Куда плывем, ребята? — спросил он. — А Ной его знает, — сказал какой-то козел. — Ага, значит, в Армению, — догадался он. Проснулся он на каком-то пляже, конца-краю которому не было видно. Ярко светило солнце. На третий день его подобрал караван верблюдов. Напившись вонючей воды, он вспомнил рыбку морду и обиделся, что она его не предупредила. Он стал отрабатывать выпитую воду, но скоро плюнул и ушел по шелковому пути. Из танка, догнавшего его, вышли двое в чалмах и спросили: "Ты еврей?" Он показал, что нет. "Тогда поехали", — сказали они. В городе ему сделали обрезание и дали автомат. "Мы мирные люди", — запел он и застрелил кого-то. "Это же наш", — закричали кругом и стали его бить. В тюрьме он плакал и ел крыс. Потом тюрьму разбомбили, и он убежал. Там, куда он прибежал, его встретили как героя и дали пулемет. Стрелять он больше не стал, а стал строить. "Что ты строишь", — спросили его. "Стену смеха", — сказал он, и его снова побита. Он ушел, ему захотелось найти рыбу и набить ей морду. "В Монголии она: там рыб не едят", — сообразил он, но географию он знал плохо и пришел к какой-то горе, где лежал голым пьяный мужик и пасся знакомый козел. Он допил оставшееся в мехе вино и спросил: "А где еще-то взять?" — "А Хам его знает", — сказал козел. "Все вы рыбы", — решил он. И пошел дальше — в Монголию».

— Парадоксами ничего не докажешь. Их мир был несправедливо жесток потому, что они сами были жестоки и несправедливы. Быть сильным, первенствовать неважно в чем — в боксе, в войне, в сексе, в политике — вот успех, быть просто добрым хорошим незаметным — неудача. Каков может быть мир людей, для которых сам Творец — субстанция садистическая, судебная-карающая? Верящий во всемогущество силы не погибнуть от силы не может. Их знания, культура, искусство были высоки, но знаем об этом теперь только мы. Я скорблю, и не поднимается рука написать «причина гибели — глупость».

— Это не подлежит обсуждению. Любая преждевременная смерть — глупость, а здесь целая цивилизация. Я хотел поставить в списке причин это первым пунктом, но

все остальное вытекает отсюда, и, думаю, нам нет смысла разъезжаться. Этот пункт так и останется единственным.

14. РАНА

Рана. Дорога — рана, шрам белый в фиолет.

Ночью прибой. От Бога. Кто пришел? Кто ушел? Тоска. На алом черное. Это эротично. Ах нет, это — гнев. Бетховен играет. Мощно. Воин суровый на рубеже. Ни пяди. Страшно, когда мать сидит локти в колени, согнувшись. Глазницы. Не рви душу, он был плохой. Он мой. Он твой, мать. Отец, зачем ты это сделал, отец? Бедно женское тело. Лежит рядом. Разве я этого хотел? Сучит ножками, пеленка грязная сбилась. В уличных боях. Он твой, мать. Придет время. Тоска. Случка слонов. Сначала страшно, потом смешно. Конец жалок. Поспорим, моя кобыла придет первой? А какой круп! Поверти задом, стриптизерша, Жизнь, поверти задом. Огромный член над континентом. Ударь в колокол. Твою мать. Желание. Цветы. Музыка. Музыка, цветы. Пластинки крутится диск. Чужое все. Тело чужое. Пища чужая. Мысль чужая. Тоска моя. Отец, зачем ты сделал это, отец? Опасно. Желтая слева, черная справа. Красная. Красной нет — успели. Поможет бронированный колпак и презервативы. Мама. Поэзия. Ароматизированный презерватив. Мыслители. «Все пройдет, как с белых яблонь дым». Дым. С яблонь. Презерватив. Возьми душу мою, Господи! Возьми, и очисти, и сохрани! Жизнь — морда собачья на коленях. И она предаст. Уйдет. А я останусь. Разве этого я хотел? В казино гроб. Ставлю. Ставлю на все. На нож кровавый. На душу черную. На zero. Травинка зеленая рвется вверх. Аж звенит. Ставлю. Сократ пьет цикуточку. Не поделится. Выдохлась. Бешеные остались. Много. Сильные. Всего много. Не бойся, мать. Диффузная разверзлась. А ставок нет больше. Наш банк. Покой идет. Покой.

15. РАССТРЕЛ

Шеренгу выстроили лицом к солнцу. С плечами, приподнятыми от связанных за спиной рук, с опущенными головами и взглядом исподлобья, они казались стайкой птиц на проводах. Мыслей у него не было, только ясное ощущение, что сделать он этого не сможет. Руки сами брезгливо разжались, он не бросил, а выронил автомат и деревянной походкой направился к раздавшейся шеренге. Повернулся лицом к солнцу и заложил назад руки. Ему стало свободнее и вернулась способность думать.

— Легкой смерти захотел, гаденыш? Не выйдет, — шипел кто-то ему в ухо, пока, заломив руки, почти бегом: тащили, избивая, к машине.

Его били непрерывно, и все кончилось бы гораздо быстрее, не лежи он вольготно раскинувшись, как на пляже, и осмысленно глядя вверх. Привыкшие к скорченным, прикрывающим уязвимые места фигурам, профессионалы, умеющие на выбор отбить любой орган навсегда или на время, невольно сдерживали удары. Кончилось отведенное на физическое воздействие время, пришел врач, пощупал пульс и, подписав справку о применении конвоем спецприемов к разбушевавшемуся арестанту, разрешил отравить его в камеру.

— ... таким образом, налицо прямая измена, выразившаяся в невыполнении подсудимым приказа командования, а также нарушение присяги, то есть деяние, подпадающее под действие статьи 427, пункт Д, а также статьи 439, пункт А. Ввиду вышеизложенного, а также создание подсудимым прецедента весьма недвусмысленного толка, прошу приговорить к смертной казни.

— ... хочу напомнить высокому суду о нарушении командованием инструкции

39/44 «О порядке исполнения наказаний». Мой подзащитный не прошел соответствующей подготовки, а также не участвовал в боевых действиях. Налицо стресс, как результат — временное психическое расстройство, что существенно смягчает вину моего подзащитного. В свете приведенных данных можно смело утверждать, что деяние моего подзащитного подпадает под действие статьи 427, пункт Б. Учитывая вышеизложенное, прошу приговорить подзащитного к пяти годам тюремного заключения.

Суд дал ему десять.

В тюрьме не то что уважают характер, но признают его. Первое время его не беспокоили, работа была нетрудной, он окреп, только головой странно дергал, словно отгоняя мух. Ему не раз нашептывали соседи, что надо прибиться куда-то, одному не выжить, но он только пожимал плечами и, когда его позвали в соседний барак, пошел спокойно, хотя уже знал, что там решалось очень многое.

— Ну, что ж, парень, — сказали ему. — Мы к тебе присмотрелись и отнеслись к тебе решили по-особому. Вот он двоих убил, а дали ему семерик. Ты отказался, и получил десятку. Если ты христосик, иди к верующим, не хочешь — иди к нам. Хоть ты и не фартовый, но пошел против властей, и мы тебя примем. Дачек ты с воли не получаешь: ни еды, ни курева, ни теплых вещей. Десятка — это срок. Думай.

Вот только думать ему и хотелось, думать, и чтоб не мешали. Он смотрел на них и вспоминал ту шеренгу. Они сидели, скрестив ноги, глядя исподлобья, и тоже напоминали каких-то птиц, но он знал, что к этим он не пойдет.

— Спасибо всем, — сказал он, — я пока не знаю, я работать буду.

— Ну, что ж, ты сказал. Мы зовем один раз. Работать — так работать. Но завтра на общие пойдешь, и учти: никто тебе теперь не заступник. Все. Разговор кончен.

Здесь все группировались по национальным, религиозным и прочим признакам, и против обидчика сразу вставала сплоченная семья. Он же, общаясь со всеми, был одинаково ото всех отстранен, и, несмотря на то, что брать у него было особенно нечего, мог стать легкой добычей лагерных шакалов, если бы не его армейская выучка и способность в драке оставаться спокойным. Он равнодушно и в той же мере страшно бился за шайку воды в бане или за старый свой бушлат. Бился так, что даже опер сказал: «Смотрите, зеки, ему все равно, он как бы умер уже, и вы или кладите его сразу, или не трогайте вовсе». После нескольких стычек ушлый тюремный народ смекнул, что связываться с ним — себе дороже.

Был он иссиня-бледен от авитаминоза — питался баландой и сырým квелым хлебом местной выпечки. Щеки, пальцы на руках и ногах были подморожены, кожа лопалась, сочилась сукровицей, но за короткое северное лето все подживало. Он, как новенький, входил в самое страшное зековское время — зиму — без больнички и допитания.

Все выходные дни, а в рабочие — до и после ужина до самого отбоя он сидел в читальне и читал, и перечитывал небогатую библиотеку, подергивая стриженной в шрамах головой. Не был он бирюком, никого не сторонился, слушал рассказы о лихих кражах, побегах, делах любовных. Сидя в курилке, обсуждал погоду, способы валки и трелевки, местные новости, но все как-то мимо, и было видно, что где-то он далеко.

Когда отломил он две трети срока, важную для любого зека веху, назначили его библиотекарем. Должность придурка из богатеньких или инвалида. Он и вправду стал инвалидом к тому времени, мало, пожалуй, у него было шансов продержаться еще одну зиму на общих работах. Никто не протестовал — пусть живет.

Библиотекарь — еще и уборщик, и истопник, и много чего еще, но зато в тепле, зато почти без шмоное, а, главное, ему несут присланные с воли журналы и книги — меняться, и все через его руки. Газет он не читал: не его там была жизнь, неинтересно. Народ в КВЧ, культурно-воспитательной части, собрался разный. Был

стукач — любовник кума, пара проворовавшихся чиновников, был даже один настоящий профессор, сдуру севший за чужую контрабанду.

Этот профессор как-то сказал ему, на короточках переживавшему приступ боли в желудке, что ему необходимо бросить курить.

— Вы врач?

— Нет, я психолог, но элементарными познаниями в медицине обладаю. У вас язва, и, судя по тому, как вас скручивает, неминуемо прободение, а это перитонит и смерть. Хирургии у нас нет, а вертолет ради вас никто вызывать, думаю, не станет. Никотин усугубляет изъязвление. Вам нужно сливочное масло, а еще лучше облепиховое. И уж во всяком случае не ешьте этот ужасный черный хлеб. Вместо курева покупайте хоть немного белого хлеба и масла. В баланде и каше используют комбижир, это для вас тоже яд. Если бросите курить и выдержите голодание, я берусь вам помочь.

Вечером он принес загадочную бутылку, сказал: «Начнем».

— Что это?

— Прополис на чистейшем медицинском спирте.

— Дорого?

— Не дороже жизни. Три раза в день по столовой ложке, хотя нет, вы большой, начнем с половины кружки. Будет больно.

Но еще больнее стало, когда профессор раздобыл картошки и, протерев и выжав, заставил его пить быстро черневшую отвратительную жидкость. За месяц он потерял килограммов десять, и не мог понять, от спирта его шатает или от слабости.

— Все, — сказал профессор, — дальше голодать опасно. Начинаем есть.

Он дал ему слабого теплого чая и немного хлеба.

— Я сказал: «есть», а не «объедаться». — Профессор отобрал остатки. — Понемножку каждые два часа. Язва присохла, но слизистая вряд ли полностью восстановилась. Так что никаких излишеств и, главное, не вздумайте курить.

А он и не думал. Боли ушли. Жизнь без надрыва, без ежедневного риска, да с новыми, неведомыми раньше отношениями, где обращались друг к другу на вы, и говорили обо всем с мягким спокойным юмором, и говорили о том, что восемь лет копил он в себе. Каждый вечер сидели они у печки, профессор курил, отдувая дым в сторону от него, и говорил:

— Когда я гляжу на вас, у меня все время какое-то предчувствие беды. Вы теперь, конечно, доживете до конца срока, но что дальше? Я не представляю вас ни в каком качестве на свободе. Вы дикая смесь князя Мышкина с африканским слоном, причем альбиносом. Из школы — в армию, из армии — в тюрьму. Да с вашим знанием жизни вас мыши съедят: слоны всегда боялись мышей.

— Вы не запугивайте меня, а то я здесь останусь. Скажите лучше, ведь вы психолог, видели и больных, и здоровых. Кого больше?

— Ну, это к психиатру. Но ваш вопрос выдает ваши сомнения в нормальности человечества. Должен вас уверить, что вторых больше, и вы принадлежите к их числу. У вас стабильная подвижная психика. Способность чутко ощущать грани между добром и злом, за которые не должен выходить человек. В основном же народишко нормальный, с незначительными отклонениями.

— Я неудачно спросил. Я не о психике, а о душе.

— Ага, о душе. Вы верите в нее?

— Я верю. А вы?

— Ну, я не встречал ни одного психолога или психиатра, из настоящих, конечно, который не допускал бы ее существования. Сам же я, переболев многими идейными болезнями, давно уже числю себя персоналистом, экзистенциалистом, трансценденталистом и эсхатологом. Термины знакомы?

— Да. Произносить еще не приходилось, но очень знакомы. А как вы можете быть

одновременно и трансценденталистом, и эсхатологом?

— Могу. Я — трансцендентальный эсхатолог.

— Ну, ладно, это после. Я ведь спросил о здоровых и больных потому, что такую жизнь могут создать для себя люди не очень-то здоровые — душевно здоровые, я имею в виду.

— С вами труднее, чем на допросе. Вы не деликатничайте, а прямо скажите: «Я вижу, что мир наш зол и несправедлив, правила в нем неправильные, и похож он на дурдом, но, будучи человеком верующим, я останавливаюсь на этой мысли и боюсь идти дальше». Ведь так? Для себя я решаю это как конъюнкцию: если Творца нет, то все ясно и все беспросветно; если Творец есть (а мы с вами это знаем), значит, он не правит в этом материальном мире. Вот вам мой эсхатологизм — этот мир конечен, а тот, духовный, — трансцендентен.

— Знаете, — продолжал профессор, — как в старом анекдоте: новичок все бегают, бегают по камере, а Рабинович спрашивает его: «Вы что, думаете, если вы бегаєте, то вы уже не сидите?» Так и наши мышки на свободе думают, что, если они суетятся, то не сидят. Все сидят. Вам двадцать восемь, и вы, конечно, хотите изменить мир. Я не оговариваю — держайте: хуже уже не будет. Мой диагноз — вяло текущая эсхатология, но вас я буду подкармливать, подлечивать. Трудитесь.

— Да нет. Нет у меня и мысли что-то переделывать. Только понять. Вы лихо за меня все объяснили, только моя философия начинается там, где ваша кончается. Нет для меня вопроса о Боге. Пусть каждый решает его для себя сам, в любом случае дана нам достаточная свобода строить свою жизнь здесь независимо от того, веришь ли ты в рай и ад, переселение душ или тьму полную. Как там у Булгакова? «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладно придумали. Оно может и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Если человек — сволочь, то мне неважно, сволочь он христианская, мусульманская или иудейская и из чего эта сволочь произошла: из праха, амёбы или обезьяны. Для меня важно, почему, имея возможность быть хорошим, он стал сволочью, и когда он ею стал. Может, на девятой неделе жизни надо было его выкупать в холодной воде, и не стал бы он серийным убийцей. А, может, на двадцать четвертой между шестью и девятью часами надо почесать ему левую пятку, и вырастет он Микеланджело. Ну что сделать, чтобы не был он тупым, жадным, жестокий? Играть над ним на виолончели, рожать его в Лувре или обрабатывать дустом и сухим паром? Что? Вы знаете? Нет. И я не знаю, и никто не знает. Давайте, как говорят блатные, конкретно. Я вас, психолога, спрашиваю, я — сумасшедший или люди — душевнобольные.

— Отвечаю, в натуре, конкретно: вы абсолютно нормальны, и люди в большинстве не больны душевно. Золото, власть, секс были, есть и будут стимулами и приоритетами. Таков человек. Чтобы не был он тупым, жадным и жестоким, не надо чесать пятки или обжигать паром. Мы будем мучить и убивать друг друга, смотреть сериалы, воевать на стадионах и ходить на выборы, пока будем массой. Мы знаем, что происходит, когда идея овладевает массами, ну, а если масса овладеет культурой, массы не станет. Из таких, как вы, массу не слепишь. Вот конкретный ответ на ваш сакраментальный вопрос, но процесс этот медленный и трудный. Хотите служить в нем катализатором, Бог в помощь. А что, зеки внесли достойный вклад в мировую культуру: Сервантес, Достоевский, Джордано, Галилей, О'Генри, Солженицын, Вийон, а скольких просто не успели посадить! Да вы, вроде, обижаетесь?

— Да ну, профессор, все это не смешно.

— Смешно, друг мой, смешно. Я выпишу для вас из дому «Корабль дураков».

16. ОЗЕРО

В этой клетке он мог лежать, вытянувшись во весь рост, или сидеть, согнувшись. Дымчатый горизонт при быстром взгляде казался запредельно далеким, при внимательном — суживался до размеров клетки. Несколько небрежных пятен зелени и даже какой-то намек на фонтан. Стол, заставленный и заваленный посудой и остатками пищи. У стола — диван, частично занятый циклопическим существом с черепом, затейливо завитым то ли в рог, то ли в раковину. Клетка из несокрушимого материала, убивавшего всякую надежду, висела на уровне груди этого «козлорога», как сразу он обозначил это. Глаз козлорога оживился.

— О дорогой, долго, долгожданный гость. Ну, никогда нас не предупреждают о вашем прибытии, во все равно я рад, рад. Итак, кто вы?

— Я? Ну, я — человек.

Сильнейший удар встряхнул его и бросил грудью и лицом об пол клетки.

— Дорогой мой, вы — гость, я — господин. Итак, кто вы?

— Я — гость, господин.

— Да. Должен сказать, что мы пробудем с вами один день, один всего лишь день, но вечер этого дня можете приблизить только вы. Впрочем, времени у нас более чем достаточно. Кстати, не мешает ли вам ваше э... жилище?

— Нет, господин.

— Ну, еще бы: его занимали особи, намного превосходившие размерами само это помещение. Вам повезло, повезло. И вот что еще. Я позаботился о вас, я побеспокоился о вашем удобстве, это заслуживает благодарности, не так ли?

— Да, конечно, спасибо, господин.

Два удара подряд перетряхнули его. Кровь стекала на стол и без следа впитывалась или испарялась.

— Мне что-то не понравилось в этой фразе. Может быть, попробуете еще?

— Да, господин, конечно, господин, спасибо, господин.

— Да. Я не люблю излишнего принуждения. Все очень просто и ясно. Ко мне нельзя обращаться с вопросами и просьбами, ко мне вообще нельзя обращаться. Нужно выполнять все, о чем я попрошу. Теперь я отдыхаю.

Он откинулся на спину, стараясь не стонать. Ребра и левая рука были сломаны. Страшно торчала локтевая кость. «Может быть, напою досыта кровью этот стол, и придет закат», — подумал он, и такая тоска охватила душу, что козлорог даже зачмокал во сне.

Он проснулся бодрым, совершенно здоровым и без следа уныния. Да и глаз козлорога смотрел на него весело, по-доброму.

— Дорогой гость, я вижу и чувствую, что вы э... несколько нарушили стерильность вашего жилья.

— Господин, я...

— Нет, нет, никаких объяснений. Гигиена превыше всего. Маленький язычок огня лизнул угол клетки, не торопясь, прошел по полу.

Он глох от своего крика, мечась по клетке, оставляя на ней куски горячей кожи и мяса. Он терпел три дня, на четвертый он горел дважды,

К козлорогу временами присоединялась дева с очень ярко выраженными женскими признаками, и тогда они весьма увлеченно и изобретательно занимались любовью на всем пространстве дивана.

Он, совсем ослабевший, горел все чаще и чаще, заставляя парочку останавливаться и внимательно и серьезно следить за ним. Утомившись, козлорог закуривал гигантскую сигару, а он, сидя в дальнем углу клетки, не мог оторвать взгляда от огня спички, который вспыхивал нестерпимо белым ярким пламенем.

— Наверное, это ТА еще сера, — подумал он и с этого момента замолчал. Он

горел, как входят в холодильник воду, вдохнув и задержав выдох.— До позвоночника он терпел, а после ему было уже не больно и не страшно. Он не просто перестал кричать, он ЗАМОЛЧАЛ.

— Ну-ну, дорогой гость, мои небольшие уроки гигиены развили в вас некую э... гордыню. Я думаю, вам следует сменить обстановку. Прогулка, прогулка — вот что вам нужно.

Он очутился вне клетки, проклятый стол маячил вдали, ноги понесли его туда, где горизонт, его что-то хлестнуло его сбоку, он упал, перевернувшись несколько раз, вскочил, и руки, поднятые для борьбы, опустились. На него смотрели глаза огромной змеи. Он сделал слабое, ничего не значащее движение в сторону, и это было все, что он мог.

— Э, дорогой гость, голова поседела и что-то стала трястись. Прогулки в этих местах не всегда полезны, да и пищеварение у этих рептилий очень уж замедленное.

Он лежал под столом козлорога, кожа появилась только у кончиков пальцев, там, где стали обозначаться тонкие пластинки ногтей.

— Но ничего, я придам вам некоторую э... подвижность.

И на него просыпался поток соли. Он целую вечность полз туда, где должен был быть фонтан. Он дополз, он перевалился в воду. Но это был не фонтан, это был аквариум, где жили маленькие хищные рыбки.

И все, его больше не было. То, что раньше было им, ползало под столом, что-то ласково лопоча, слепо тычась в ноги козлорога и подбирая все крошки без разбора.

— Э... дорогой гость, вам нужно время, время. Купание не в сезон, да, именно не в сезон. Дорогой мой гость, полдень близится, полдень. Самое время для купаний, омовений и прочих э... приятных процедур.

И козлорог перестал замечать его, лишь изредка пиная заскорузлым ногтем большого пальца, чтобы услышать успокаивающий лепет. И когда после любовных утех, после выкуренной сигары козлорог затих, началась работа, работа точная, быстрая, — великая работа. Каждый коробок спичек был для него, как ящик. И эти ящики ложились, как надо, открытые, голова к голове, выше, еще выше, и он не открывал глаз, боясь, что огонь ненависти осветит и зажжет все раньше времени. Он знал здесь каждую песчинку, каждую выемку и складку, и вот он соскользнул вниз, чиркнул спичкой и, откатившись за ножку стола, оглохнув от дикого визга козлорогой ракеты, широко открытыми глазами увидел, как через разорванный дымчатый горизонт опускается на него такой светлый, такой звездный вечер.

Здесь было тихое, теплое озеро, и он, не в силах ни думать, ни вспоминать, целыми днями лежал на берегу, не щурясь и не мигая глядя на солнце. Ночами часто шел дождь, и он в своем шалаше тихо плакал и молился за всех, кого любил и помнил. Он ел незнакомые плоды, не боясь отравиться, купался и медленно рос, словно его взрослая душа не умещалась в том, старом изломанном теле. В день, когда он понял, что пора, он в последний раз напился прямо из озера, будто поцеловал его, и пошел на закат. Перешагнув полосу тумана, он вспугнул змейку, юркнувшую в кусты, прошел мимо аквариума с рыбками и остановился у стола, на который капала кровь и без следа впитывалась или испарялась. На него смотрел глаз козлорога, лишь малая часть обгоревшего туловища которого помещалась в клетке, остальное клоками свисало между прутьями. Он движением глаз освободил его и, сев на стол, долго ждал, пока тот примет прежний вид.

— Ты говорил о приближающемся вечере, что было бы, наступи этот твой вечер?

— Господин, это все равно был бы ваш вечер, вы просто ушли бы отсюда вниз.

— Вниз куда?

— Я не знаю этого, господин.

— Ну, а если б я дождался вечера, оставшись собой?

— Господин, такого никогда не было, но я знаю, что тогда бы вы ушли вверх.

- Что зависело от тебя?
- Только порядок и интенсивность воздействий, господин.
- Я превратил полдень в вечер. Что теперь?
- Господин, теперь это ваш мир, и к вам будут приходить гости.
- Теперь молчи.
- Да, господин.

Прежняя, та тоска сжала сердце. Какая разница — вверх или вниз? Если не станет этого мирка, где-то добавится капелька добра.

— Я решил, — громко сказал он и увидел свое озеро и совсем рядом с берегом рыбацью лодку.

17. ПУСТЫНЯ

Он специально не поехал на машине. Хотелось пройтись от города до родной деревни пешком, через страшные когда-то Медведки, где во времена его послевоенного детства водились неведомые дезертиры, через поля гороха и турнепса, с которых гонял детей колхозный сторож, нахлестывая кнутом, и выйти к речке, вернее, ручейку, названия которого он не знал и по обе стороны которого стояла его нищая деревенька. Он почти не помнил своего детства, но стояли в глазах с полсотни домов под соломенными крышами (перекрывая такую же, упала, наступив на гнилую слегу, его мать), бестарку, увозившую ее в город, в общем, последнее — восьмое его деревенское лето. И вот по этой дороге, по которой не вернулась мать, шел он теперь, чтобы начать что-то или закончить, во всяком случае, решить, начинать или нет.

За час отмахал он семь километров и стоял теперь, тупо глядя вокруг: не было деревни, не было ручейка, не было оврага, а было ровное поле, уставленное чуть не вплотную друг к другу сотнями убогих домиков — свидетельство великой щедрости великой державы по отношению к гегемону. Он-то думал найти какую-нибудь родню, посидеть, помянуть мать, сходить на кладбище. Где оно теперь, это кладбище? Вроде было оно недалеко от деревни, ближе к лесу, но и леса не видно.

Не было у него ориентира, и, полагаясь на память и интуицию, побрел без пути. Обогнул участки, пересек местами асфальтированную дорогу и уткнулся в остатки чего-то похожего на оградку. Если сильно захотеть, место это можно было принять за заброшенное кладбище, и он поставил сумки, ткнулся рядом и подумал: «Все равно в этой земле».

Луна, небывало огромная, светила так, что он даже жмурился, и, часто и коротко дыша, наливал водку и пил, непривычно жадно закусывая, и снова пил, и думал:

— Евреи сорок лет шатались по пустыне, которую всю за неделю пройти можно, а я сорок лет по жизни шлялся, а, вроде, и недели не прошло.

Что было? Чего не было? Да ничего не было, и вот он здесь, и здесь тоже ничего нет.

Пьянея, он хотел было уже задрать голову и завывать на луну по-волчьи, но та ушла и светила теперь сзади и справа, и в этом белом мареве кружилась его тоска, кружилась, и свивалась, и затягивала его, и что-то не больно стукнуло изнутри в грудь, и, слабея, он подумал: «Луна — это хорошо».

Пустыня была как пустыня — жаркая и пустая, и бродил он по ней, скучая и отчаиваясь прийти куда-нибудь.

- Ну, а куда ты прийти-то хочешь? — спросил кто-то.
- Ну, хоть туда — обратно. К Луне.
- Что ж, тебе там лучше было?
- Да нет, но все-таки там люди.

— Люди? Ну, иди.

Он поднялся с земли. Солнце еще не показалось, но было уже светло, и, отряхивая брюки, он увидел, что сидел у какого-то геодезического знака, а вокруг прикопаны не то бочки, не то ящики. Он бросил сумки и пошел обратно, к станции, налегке, и думал о себе, о матери и о пустыне.

18. РОК И ИСТОРИЯ

Акула плавно повернулась и проглотила тунца. В этот самый момент в Треблинке был убит шестимиллионный еврей. Хотя нет, не будем спешить. То, что уже случилось, это История, а то, что еще только может случиться, это Рок, и вот Рок вмешивается, и акула промахивается. В воде много таинственного, таинственного и прекрасного. Останься я наедине с водой, один на всей планете, я найду и пропитание, и жилище! Я добуду и воздух, и огонь, и гремучий газ, а, если придется, то и кое-что пострашнее. У меня будет соль, металл, электричество и многое другое, да ведь я и сам почти весь из воды. Когда я утоляю жажду, я всегда говорю спасибо, и знаю, кому говорю. Вода смывает то, что надо, и что надо сохранить. Она может мгновенно исчезнуть, выкипеть, а может — пережить и мантрейю, и махапралайю.

Вот и моя жизнь утекает, как вода, и, как вода, может вернуться в свое время. Во власти Рока все: вещи совершенны. Это и вода, и воздух, и огонь, и земля, да и не бывает Рок долго неблагоприятным — акула все-таки проглотила тунца.

Конечно, акула мало что знает о мироздании, не очень даются ей оды и сонеты, но зато как красива, как совершенна. Совершенна — значит завершена, как и все, подвластное Року.

А вот с Историей что-то не так. Кого из тонко чувствующих и глубоко мыслящих мы не смогли бы попросить: «Ну, будь ты еще хоть чуть-чуть человечней!» — героя, поэта, правителя, философа? Но вряд ли найдется кто-нибудь, кто скажет акуле, чтобы она была поакулистей, разве что только тот, из Треблинки.

Говорят, что мир вообще плохо устроен. Говорят, конечно те, кто умеет говорить, то есть творцы Истории, но заселили этот плохо устроенный мир одними князьями Мышкиными, Алешами Карамазовыми, Татьянами Лариными, Маргаритами, и что тогда будет? Что будет с Историей? Она кончится.

Ну, разобьется китайская ваза, так это никакая не история, это — анекдот. Ну, там, тоска, неразделенная любовь, ну, тихие слезы, а где тюрьмы, границы, где заговоры, яды, вероломство, грандиозные сражения, горы трупов, где пираты, где зрители гладиаторских боев, где дипломаты и министры, где все это, достойное Истории? Нету! Кончилось!

Мир совершенен, это мы не совершенны, это мы не завершены. Мы — куколочки Истории, а никак не имаго. Ох, не имаго.

Течет вода, все будет хорошо, но это потом, после. А пока смотри на восход или закат; они так похожи. Хочешь, открою тебе тайну? Ты умрешь между восходом: и закатом. Или между закатом и восходом. Это все равно — они похожи. Для тебя кончится История, и, подчиняясь Року, в точно назначенное время взойдет новое для тебя Светило. Оно совершенно, как все вокруг, как ты теперешний, как мы будущие.

19. ПРОЩАНИЕ

Он провожал взглядом медленно уходящее за горизонт солнце. Не так уж много закатов он, городской житель, видел. И, глядя на последний, не ощущал он той

смертной тоски, о которой много читал и думал. Где-то внизу живота жил холодок, но был он привычен и сопровождал его всегда. Это был не страх, а подспудная робкая полу-уверенность, что и они — все остальные — чувствуют и думают так же, как он. И так же притворяются, что принимают все всерьез, а на самом деле соблюдают правила игры, неизвестно кем установленные. Ему всегда было стыдно за это притворство, и поэтому всякое общение было для него мучительно.

В его жизни не было исповедальных бесед, и жалко стало еще что никто не узнают никогда, о чем он по-настоящему думал, что чувствовал. Он сел за столик и стал писать единственному, на чье понимание он мог слабо рассчитывать.

— Вот и кончилось мое затянувшееся до старости детство. Я постараюсь рассказать тебе то, что таил в себе, стыдясь, как болезни. Во мне жило какое-то изначальное знание, и то, что удивляло и занимало других, было для меня привычным и каким-то своим. Когда все увлекались Карнеги, я прочитал пару глав и понял, что я давно делаю именно так и даже лучше. Когда появились подпольные самиздатовские пособия по сексу, я узнал, что делаю все по инструкции и даже лучше. К собеседнику я приноравливался в доли секунды и знал, что нужно и можно ему говорить. Наверное, я был бы большим жуликом или политиком (впрочем, я повторяюсь), если бы не брезгливость. Одна из твоих жен, танцуя со мной на вашей свадьбе, задумчиво положила на меня бюст и сказала: «Я не представляю себе тебя ни в каком учреждении». Умница. Так оно и было. Меня вышвыривало отовсюду, как щепку из воды (или не щепку). Трудно было долго притворяться, да и лень. Один раз я всерьез решил, что смогу, но все кончилось диким запоем. И таким же позором.

Главным чувством в моей жизни был стыд. Стыд за себя и других, и, если в быту он бывал переносимым, то в официальных присутствиях просто смертельным. Я вечно ходил без справок, паспортов, потому что поход в любое присутственное место был пыткой. В каждой канцелярии, в любом кабинете меня скручивало в листок, и чем выше был чин хозяина кабинета, тем хуже было мне. Я и сейчас твердо знаю, что не может хороший человек быть начальником.

Свободно и хорошо мне было только с людьми прямого действия — рабочими, артистами, художниками. Там все было ясно — кто плох, кто хорош, но и с ними все та же игра. Верите ли вы, что все это — не выдуманное, настоящее? Я не верю. Не верю, что флаги, гимны, униформы, границы серьезны. Не верю в коллективный разум и вообще в устойчивость любого клана — от государственного до семейного. Все конгломераты рушатся, это дело времени, а время было моим. Вся история была моя — историей со мной. Я легко мог думать, говорить и чувствовать, как Аттила или египетский жрец, и ничего нового не поведал мне Екклесиаст. Зная себя, знаешь всех.

Всё, связанное с человеком, всегда будет не наукой, а искусством.

Люди живут для удовольствия. Для удовольствия они говорят правду и лгут, верят и сомневаются, молятся и проклинают, едут в бордель и в консерваторию, идут на кражу и на подвиг, творят и разрушают. При этом живут они неясными, смутными сгустками мыслей, желаний, инстинктов. Чувства незамутненные, рафинированные, очень редки и часто опасны.

Любовь — смесь желания со страхом, унижением, высокомерием, нежностью, презрением и еще черт знает с чем, и всё это у всех в разных пропорциях и соотношениях. В этом уравнении можно подставлять или менять местами любые члены — все равно оно будет справедливо и неразрешимо. Какая философия— психология—социология—анатомия осмелится распутать этот клубок и сказать: я знаю?! Только искусство, а там, где бессильно и оно, там — вера. Но и вера в этом мире — искусство. Уж больно искусно и изощренно надо верить, чтобы примирить непримиримое.

Все вероисповедания твердо стоят на торгашеском «ты — мне, я — тебе». Ты мне

ягненка, я тебе удачу, ты мне хорошее поведение, я тебе — вечный пряник. Но нет такого бога, который ел бы баранину. Нет такого бога, что любил бы наши гнусавые голоса. Нет бога, нуждающегося в нашем страхе и поклонении. Творец не сатрап, ему рабы не нужны.

Отовсюду торчат уши особо приближенных к Нему. Веришь Ему — верь мне, любишь Его — люби меня. Когда—то там, на заре, они одни умели писать и написали. Одни берут мою свободу под обещание пресного рая в вечном обществе бога, наслаждающегося запахом горелого мяса и зубовным скрежетом. Другие изымают из жизни любовь и тайну, убирают конкурента, отбирают у женщины душу, живут, кайфуя, но не явили и не явят миру ничего достойного. Третьи тысячелетиями рвут народ на касты, жгут несчастных вдов на кострах и лгут, лгут, что это — Его воля. Четвертые вообще меня обезличили и, прогнав через череду рождений, на своих условиях пустят меня в котел всеобщей радости для переплавки. Ну, и много еще их всяких, и все это в чистом виде и в смесях всерьез принимают люди. Принимают и страшно гордятся своей непохожестью на всех остальных. А я встречал самых, казалось бы, разных — черных, красных, синих, белых и желтых, и вся разница между ними состояла в том, что скороговорку «родился, жил, умер» они произносили на разных языках.

Жили маленькие добрые северные люди. Ничего не ведали о бурях и потрясениях Востока. Долгими полярными ночами рассказывали великие сказки. Делали из костей и шкур замечательные вещи. Не видели фруктов, не ведали хлеба, не знали вина. Чужды тем были вражда и убийства. Правда, стариков своих они отправляли в Долину Предков, но только с их согласия и под бубен шамана и древние песнопения, снабдив их всем нужным для вечной охоты. Гостей Отогревали в объятиях своих женщин. Теперь они смотрят телевизор и занимаются бизнесом.

К трону восточного деспота ползли на животе, за покушение на его гарем отрубали голову, ел он удивительные яства. Золота и драгоценностей его хватило бы на миллионы жизней, а кровь, конечно, чужую, он лил щедро, как щербет. Теперь он смотрит телевизор и занимается бизнесом.

Не менее восточный аскет не знает женщин, одежды, почти не ест. Он редко смотрит телевизор и совсем не занимается бизнесом.

Скороговорка же у всех одна, а свою я быстро договариваю. Светлеет за окном, и так же светлеет у меня на душе. Будет новый день. Я помню, что ответил добрый Силен настырному царю Мидасу: «День смерти лучше дня рождения». Уж коли родился ты на свет человеком, то не надо метаться в страхе, нюнить и изворачиваться, а достойно и честно жить, делать, что можешь, любить землю и ее Творца. А когда придет время, уходить туда, где, я знаю, есть новая земля, и новое небо, и спускается с небес город, украшенный подобно новобрачной. Где все двенадцать ворот всегда днем открыты, а ночи там не бывает.

И в этом свете нового дня душа очистится от праха, и ужаснется или возликует, и войдет или не войдет в ворота. И если исполнится по вере моей, то встречу тех, по кому тосковал. И тогда говорю тебе «до свидания», а если нет — «прощай».

20. НО...

Они сидели у самой кромки воды, и один горячо говорит другому:

— Ты — духовный дальтоник. Ты не видишь, не способен видеть ничего хорошего. Даже твое сочувствие, сопереживание и то какое-то сухое, книжное. Нет действия, а о человеке судят не по мыслям его, а по поступкам.

— Не о человеке, а человека судят по поступкам. Мысль — тоже действие, и чем больше мыслей, тем меньше поступков, ибо последствия их неведомы, но

необратимы. Разумный предвидит и страшится, и стремится к покою, бездействию.

— К смерти?

— Ну, «чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь».

— Этот мудрец, поддерживая свое существование, все равно что-то совершает.

Мнет травку, заглатывает акриду, черт возьми.

— Не злись. Нельзя воспринимать чужое мнение как призыв немедленно ему следовать. Примерь на себя, и если не подходит, отринь, но оставь другому право жить по-своему. В жизни нет абсолюта, и, если тебя сейчас смочит волной, я не стану философствовать, а просто поплыву и постараюсь тебе помочь, но предложи мне работу спасателя — я откажусь.

— Живи, топчи траву, глотай акрид, но топчись и заглатывай поменьше. Ну, а действия... Что ж действия? Стоит ли помогать одному, не имея возможности помочь всем? Не надо будить веру и разум, соблазняя малых сих. В ком они есть, в том неминуемо проснутся. В иных же ты только посеешь тоску по недостижимому и злобу на тех, кому дано. Ты сказал, что я не вижу хорошего, да нет, вижу, только не считаю нормой, да и преобладает не оно.

— Проповедь же — знак гордыни у смертного. Чтобы куда-то звать, надо побывать там самому, а не просто верить. Вера — дело надежное только для самого верящего. В мире есть один твердый ориентир — это моральный закон для атеиста и Нагорная проповедь для христианина. Чтобы жить по этому ориентиру, разум должен преобладать над чувствами, желаниями, страстями.

— А где ж ты такое видел? Самые лучшие из нас умеют все вывернуть наизнанку. Сказано «не убий!», но это относится, видишь ли, только к каким-то высшим, да и то если они совсем уж высшие, а не всякие там инакомыслящие, иноверные или инородные. И так во всем. Я буду долго и нудно перечислять тебе все, что меня не устраивает, что ранит меня, а ты еще занудливее и длиннее будешь отвечать мне словами-вывертами.

— Но мысль должна, нет, не должна, а может быть прямой и честной, и вот тогда-то и становится страшно, и с этим страхом живешь — «не навреди», не умножь зла. В общем, когда слушаешь кого-то, можешь все пропускать, пока не услышишь «но...». Конечно, но... Да, мир не совершенен, но... Я виноват, но... Лучше обходиться без «но». Только «да» и «нет»!

— Но должна же быть какая-то середина?

— Если «но», то, конечно, должна.

— Без всяких «но». Да или нет?

— Нет.

— Хорошо. Я украл, но я был голоден.

— Это — «да».

— Но здесь есть «но».

— Нет. Ты украл — да. Ты был голоден — да.

— Значит, я мог украсть?

— И да, и нет.

— Поподробнее.

— Да — ты мог украсть и насытиться. Нет — ты не мог украсть и умер.

— Ну, ясно. Я бы украл, а ты бы умер.

— Не знаю. Психика страшно изменчива. Заберись на стол, и ты уже немножко другой: по—другому видишь и говоришь. А туг голод. Ты все ведешь меня в переулки и тупики, а я говорю о широкой и прямой улице. Бордели, банки, бары, церкви, школы, театры, конюшни, опиумокурильни, биржи, больницы, морг. Заходи или не заходи, не считая морга, конечно. Шикарная жизнь, все блестит-переливается. Нет голода, одна жажда. Вот тут или «да», или «нет», и никакого «но».

— Да...

— Что «да...»?

— Да, но невозможно же без компромиссов?

— Конечно. Съешь на ночь чеснок, но почистишь зубы и ложишься со мной. Здесь принимаю «но». А если я тебя люблю, но уик-энд проведу с секретаршей, то здесь «но» не принимается, а только «да» или «нет». «Мы мирные люди, но наш бронепоезд...» — не принимаю. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» — «но» не принимаю. И далее по тексту — «но» не принимаю и не приму.

— Хорошо, что таких, как ты, немного, иначе не было бы никакого прогресса. Даже колесо бы не изобрели, боясь дальних последствий Твою теорию можно уважать, но применять нельзя.

— Опять «но». Дружище, это — не моя теория и не теория вообще. Это — практика. Все то небольшое, что устроено разумно, с ней согласуется. Можно ведь сначала построить дороги, под— и надземные, с развязками и переходами, а уж потом пускать по ним миллионы автомобилей. Можно каждое кресло в самолете, да и сам самолет снабдить парашютом и т.д.

Девяносто процентов мечущихся по земле, воде и над ними спокойно могут сидеть дома без ущерба для себя и других, пользуясь телефоном, компьютерной сетью, факсом и прочим, но... Кто-то сказал: «Я могу прожить без необходимого, но не могу без излишеств». Вот оно — «но», и все будет идти, как идет.

— Ну, не знаю. Тогда пиши, греми, кричи, буди. Доводи до сознания. Вот тебе тюле деятельности. Уговаривай. Заставляй.

— Да, дружок, но... Не забывай «но». Мы вдыхаем чистый воздух, но выдыхаем дрянь, поедаем деликатесы, а выделяем сам знаешь что. Наши главные помощники — машины — пьют кровь земли — нефть, а выбрасывают отравляющие вещества и угарный газ. Или вырабатывают вредные электромагнитные волны, а то и радиацию.

Чтобы элементарно существовать, просто выжить, мы губим массу живого, а уже если с излишествами... Так что же, уговаривать не есть? И заставлять не жить? Вот оно — самое главное «но». Ты сам знаешь, каков главный результат жизни. Все придет со временем, но... Все будет подчинено разуму, но...

21. ПОЖАР БЕНЗОКОЛОНКИ НА ПОРОХОВОМ СКЛАДЕ

Огонь странно непоследователен: то пропускает лакомые кусочки, бросаясь на что-то мало съедобное, то возвращается обратно и затихает, смакуя, раззадориваясь, и, вобрав в себя энергию, идет дальше уже в другом обличье, другого качества, другого цвета, силы, консистенции, совсем иной формы и размера.

Хотя этот процесс интересен для эстетов и специалистов, результат всегда один — сгорает всё.

Извержения, землетрясения, ураганы тоже дают поводы к массе открытий и умозаключений. Но только огонь, несмотря на некоторую капризность, столь наглядно не совместим с жизнью.

Можно уцелеть при извержении, выжить при землетрясении, укрыться от урагана, но огонь, огонь неумолимо беспощаден.

Собственно, как и жизнь, которая и есть пожар, медленно разгорающийся, теплый, теплее, горячее и затухающий с последним ожогом старости. Огонь любви, ревности, мести. Раны горят огнем. Огонь нетерпения. Пламя ненависти. Горят восходы и закаты. Холодом полыхает Северное сияние. Солнце.

Все начинается огнем и им же кончается. И зря богатенькие дебилы замораживают свои тушки. Как только выгорит бензоколонка, взорвется пороховой склад. Искры полетят негасимые. Куда? Никто не знает, кроме него — огня.

22. ВЕЧНОЕ КОЛЕСО

«Колесо вращалось ещё триста миллионов лет. Оно построило Рупа (формы) — мягкие камни, которые затвердели; твердые растения, которые стали мягкими; видимое из невидимого, насекомые и малые Жизни. Она, Земля, сбрасывала их со спины каждый раз потому, что дни одолевали Матерь... После трехсот миллионов лет она стала крупной. Она лежала на спине, на боку. Она не призывала Сынов Неба, она не хотела призвать Сынов Мудрости. Она создала всё из Утробы своей. Она породила Водных людей, ужасных и злобных».

Эту цитату из «Книга Дзиан» приводит русская писательница Елена Блаватская и в своем сдержанном комментарии на десятках страниц использует двадцать два древних манускрипта и более тридцати имен. Я не буду комментировать все тексты, я предлагаю читателю включить свою фантазию. Нет в этих отрывках ничего неясного. Все абсолютно понятно, о чем идет речь, что вращалось, сколько и что именно рождало. Разные толкователи дают различные оценки древности этой Книги в пределах нескольких тысячелетий, но это не так уж и важно для меня — главное, что Книга достаточно стара для того, чтобы сравнить тех, кто написал ее когда-то, и нас, читающих ее теперь. Они, древние составители этой книги, первые писатели, предшественники философов и ученых, знали кое-что о Земле и мы тоже кое-что знаем о ней.

И мы, и они верили, что есть Сыны Неба и Мудрости, и что зло ужасно. Ужасно. Еще не родился Христос и Магомед, а они писали: «Лха, вращающий Четвертое, Слуга Лха Семи, тех, которые вращаются, устремляя свои колесницы вокруг Владыки своего, Единого Ока нашего Мира... Дыхание Его дало жизнь Семи, Оно дало жизнь Первому».

Вот так просто. Столько лет назад! У них тогда средства массовой информации не были развиты, о разных науках слыхом никто не слыхивал, а туда же:

«Водных Людей, страшных и злобных, создала Она сама из останков других. Из отбросов, из ила...»

Не знаю и не хочу знать, были эти Водные или их не было, но читайте:

«Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили мутные, темные Воды. Своим Жаром они утишили их. Они сразили Людей Ночи и Людей с Песьими Головами и Людей с рыбьими телами... Вода—Матерь, Великое Море, возрыдала. Она поднялась; она исчезла в Луне, которая подняла ее, которая породила ее».

Скажи незнающему читателю, что этот текст из Гийома Аполлинера, и он будет счастлив. А я нет. А я прислушиваюсь к долгому эху этих слов, и понимаю, как длинна была каждая мысль здесь заложенная, и как несравнимо коротки наши мысли, даже если они ведут к изобретению компьютера или жевательной резинки. Нет вещи, понятней одному, которую нельзя было бы объяснить всем остальным. Это дело времени и усилий. Нет вещи, нет понятия, о которых все были бы одного мнения. Просто из своей зловредности берусь оспорить что угодно. Нет универсальной Истины. Надеюсь, что самой популярной, понятной формулой будет — «добро — хорошо, зло — плохо». Спорщики найдутся, это их хлеб. Но их гораздо будет меньше, чем по любому другому поводу, если им не придется расшифровывать сами понятия.

«Отцы призвали на помощь свой собственный Огонь, который есть Огонь, горящий в Земле. Дух Земли призвал себе на помощь Солнечный Огонь. Эти Трое создали соединенными усилиями форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но все же она была тенью Гхая, Тенью, разума

лишенная...»

Итак, только Тень, лишенная Разума. Это плохо, это Зло.

«Дыхание нуждалось в Форме. Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в Плотном Теле, Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в Духе Жизни, солнечные Лха вдохнули его в ее ферму. Дыхание нуждалось в Зеркале Тела своего. — "Мы дали ему наше собственное", — сказали Дхиаии. Дыхание нуждалось в Носителе Жемний. — "Оно имеет его", — сказал Осушитель Вод. Но дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить Вселенную. — "Мы не можем дать Зло", — сказали Отцы. — "Я никогда не имел его", — сказал Дух Земли. — "Форма сгорит, если я дам ей свой пламень" — сказал Великий Огонь».

Уже тогда было ясно, что разум — это зло, а неразумие и безумие есть зеркальное отображение разума, что вместить в себя Вселенную может любой ученый-безумец, а остальное — очередной телесериал. Здесь вся космогония, от Птолемея до Айзека Азимова, от неподвижного Солнца до «черных дыр» Вселенной...

«Они взяли жен, прекрасных видом. Жен от разума, лицемерных, узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок. Они построили храмы для тела человеческого, мужей и жен стали боготворить они. Тогда Третий Глаз перестал действовать».

А зачем третий Глаз, спросим мы сегодня? И два глаза роскошь. Чем больше видишь, тем больше хочется.

«Они построили огромные города, из редких почв и металлов строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и черного... Из камня высекли они собственные изображения по размеру и подобию своему и поклонялись им много...»

Демоны. Они много возвели городов. В этих городах из городских клоак вздымались отравляющие все живое миазмы социальной неустроенности, ядовитый, спертый воздух тюрем и узилищ для безумных. Самцы и самки. Их сложные взаимоотношения от любовных обмороков до венерической болезни. Пора, наверное, включить «просвещенный» разум XVIII столетия и строить для безумных горожан деревни, чтобы лечить их души.

«Надвинулись Первые великие воды... Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены. Вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота Земли. Немногие остались — несколько желтых, коричневых и черных и несколько красных. Люди лунного цвета исчезли навсегда».

А жалко. Что может быть прекраснее лунного сияния и лунного подобия?! И вообще, это небывалое нашествие великих вод, вызванное падением крупного космического теша в Средиземное море и «бунтом» самой Луны, и эти черные волны, высотой в три километра, мчащиеся по раскаленной пустыне, и Солнце умирающее в черном небе. Красиво, наверное, было. Трагически красивая кара Божья...

=====